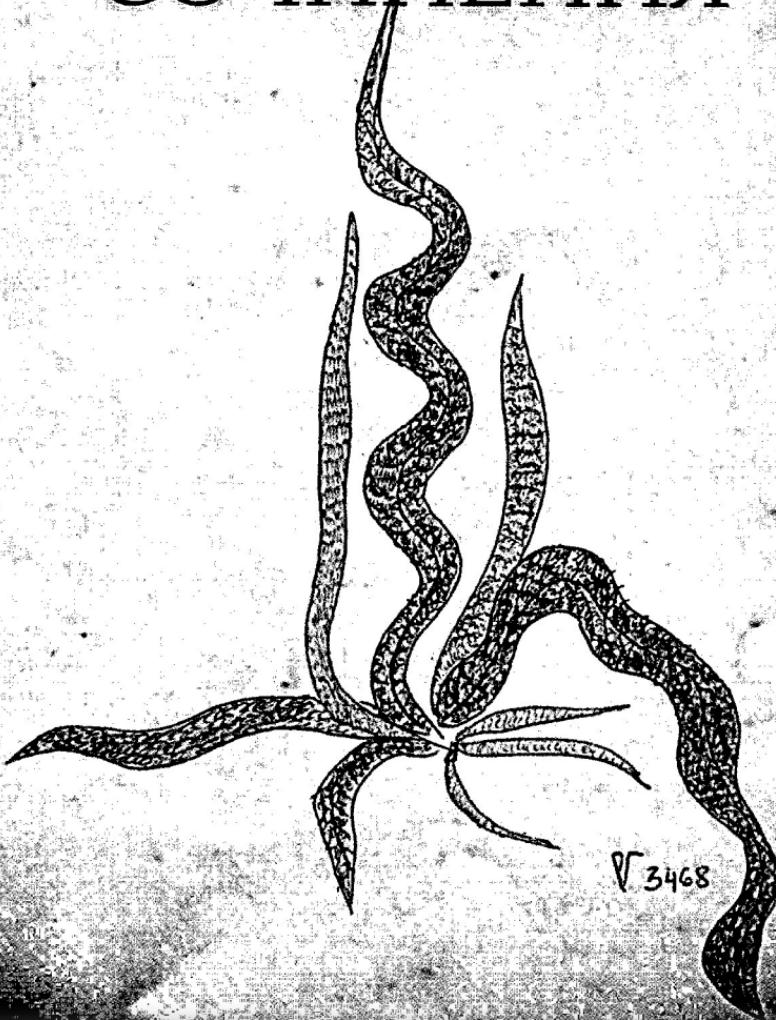


Рид
Грачев
сочинения



Аннотация

Кому выпали посох и сумма, кому — труд и глад, а Риду Грачеву досталась та же участь, что Батюшкову, горчайшая из всех, как думал Пушкин. Тридцать с лишним лет прошли со временем пронзительного дебюта, четверть века назад увидела свет первая и единственная, изуродованная цензурой книга Рида Грачева, и уже два десятилетия он живет, не участвуя в литературе, не участвуя ни в чем и почти ни с кем не говоря. Он в другом измерении, в другой галактике ценностей — бездомной, страшной.

В этой книге собрано всё, что удалось собрать.

РИД ГРАЧЁВ

НИЧЕЙ БРАТ

РАССКАЗЫ

МАШИНА

Утром тетка сказала:

- А почему ты не спрашиваешь, что с твоей мамой?
- А что мне спрашивать, — ответил я, — я и так знаю: мама борется с фашистами в Ленинграде.
- Твоя мама умерла, — сказала тетка.

Я спросил:

- То есть как умерла? Ее убили фашисты?
- Нет, — сказала тетка. — Она просто умерла. Ну, чего ты уставился? И не заплачет. Бесчувственный звереныш.

Потом она за творогом меня послала, по карточкам получить. Сказала, чтобы я ни с кем не играл и не разговаривал, а то творог кончится.

Наша улица под горку, а если направо идти, то в горку. Мне нужно было под горку идти.

Я иду, ни с кем не играю и не разговариваю. Потом подошел незнакомый мальчик не с нашей улицы. Мальчик в серой рубашке и босиком. Он сказал, чтобы я с ним поиграл. Я ответил, что мне нельзя, потому что я иду за творогом. Он спросил, что у меня в руке. Я показал ему тридцатку. Он спросил, почему бумага красная. Я удивился, что он не знает, и сказал ему, что это деньги. Он попросил подержать. Я дал. Он повертел тридцатку в руках и говорит мне, что там Ленин. Я спросил: «Неужели ты денег не видел?» Он ответил, что таких денег у него дома не бывает. Он спросил еще, что на них можно купить. Я сказал, что вообще не знаю и что можно творог. Он спросил, что такое творог. Я сказал, что это белое и вкусное. Он подумал и сказал, что не знает. Я тогда спросил, а что он знает. Он сказал, что знает, что такое «Торснабпрос». Я спросил, что это такое. Он сказал, что там работает его мама уборщицей. Я ему сказал, что моя тетя работает бухгалтером. Он спросил, что такое бухгалтер. Я ему объяснил. Тогда он нагнулся и потрогал мои сандалеты. Он спросил, что это такое, и сказал, что он сандалеты не знает, что зимой носят пимы, а сандалеты — это непонятно. Потом он спросил, почему у меня черные волосы, а у него белые. У него были настоящие белые волосы, и я сказал, что я не знаю, но что мне нравятся белые волосы. Тогда он сказал, что хочет будто меняться, и я сказал, что давай. Он взялся за мои волосы, и я сказал, что больно. Я взялся за его волосы, и он тоже сказал, что больно. Он потянул, и я потянул. Мы стали кричать, что нам больно, и стали тянуть за волосы. Я повернулся и увидел: машина! Я ему сказал, что машина и чтобы он отпустил. Он посмотрел и увидел, что машина, и стал кричать, чтобы я отпустил. Я сказал, чтобы сначала он, он сказал, чтобы сначала я.

Потом было: улица в гору, белое солнце, черное солнце сверху под горку прямо на нас. Быстро на нас. Солнца не видно, черное видно, видно колеса, стеклянное окно, человек за окном, и гудит—гудит—гудит. Человек не хочет на нас наехать, у него такое лицо, что он не хочет, а колеса катятся—катятся—катятся, все гудит и гремит, а солнце белое—белое—белое — нельзя смотреть.

Тогда я его отпустил и вырвался, а он побежал за мной, и было: мимо колеса, гудит, гремит, темно, быстро мимо и сразу тихо.

Тогда я закричал:

- Мальчик! Мальчик!! Мальчик!!!

Я нагнулся посмотреть. Я думал, что будет красное, но красного там не было, а почему-то желтое, и

рубашка спиной вверх, а ноги пятками вниз. Не страшно совсем. Вдруг рука и черные волосы на пальцах — мои! И красное — в ухе.

Я закричал:

— Машина! Машина!! Машина!!!

Подбежали люди. Стояли, кричали. Кто видел? Он видел! Вот мальчик видел! Ах, подлец шофер! Чей мальчик? А ты чей? Он видел. Это шофер.

Я крикнул:

— Это не шофер! Это машина!

И потом кричал:

— Это машина, машина, машина!

Вот ушли и мальчика унесли. А я все кричал: «Машина!»

Тетка спросила, где деньги, а денег не было. Тогда она стала меня бить, а я вырывался и кричал:

— Машина—машина! Ой, машина!

Тетка говорила:

— Я из тебя эту дурь выбью!

Начало 60^{ых} годов

НЕТ ГОЛОСА

Привезли нас в большой город песни петь. Кочерыгина только петь, а меня еще танцевать. А всего нас пятьдесят три. Выгрузили нас, в школе на кровати посадили, а есть не дают. Вовка Кочерыгин походил по коридору, понюхал, а ничем съедобным не пахнет, только масляной краской. Подошел ко мне, говорит:

— Давай, Мясник, я тебя съем!

Я отвечаю:

— Не надо, Кочерыжка, меня есть. Погоди, может, обедать дадут!

— А вдруг не дадут? — говорит Вовка. — Давай, я лучше у тебя руку съем, а щеками закушу...

Я говорю:

— Погоди, Кочерыжка, всегда давали, может, и сегодня дадут, а меня ты потом съешь, когда совсем еды не будет.

— Ну, ладно, — говорит Вовка, — тогда в город пойдем, чего-нибудь нашакалим.

Пошли в город. Город красивый. Пахнет хорошо по улице. Шли, шли, к фабрике пришли. Это фабрика, оказывается, хорошо пахнет.

— Шоколадом, — говорит Вовка.

— Нет, — говорю, — шахматным печеньем.

— Шахматное печенье в пекарне делают, а не на фабрике, — говорит Вовка.

— А шоколад, — говорю, — и подавно не на фабрике. Где ты видел, чтобы фабрика шоколадом пахнула. Фабрики железом пахнут.

— Другие железом пахнут, — говорит Вовка, — потому что там станки железные, а тут, наверное, из шоколада.

Постояли, понюхали, поспорили. Дальше пошли. На другую улицу пришли. Красивая улица.

— Смотри, — говорит Вовка, — кафе.

— А вот, — говорю, — ресторан.

— Нам бы чего-нибудь попроще, — говорит Вовка. — Вот, к примеру, буфет...

— Ну, буфет, — говорю. — Вот столовая. Это для нас подходящее. И пахнет лучше, чем ресторан.

Постояли, понюхали. Дальше пошли. А дальше ничем не пахнет, только цветами. Красивая улица. По бокам одни цветы. Ям нет — асфальт. Потом вином стало пахнуть.

— Эх, — говорит Вовка, — вот бы напился, а потом тебя зажарил и съел...

Я говорю:

— Вовка, а вдруг наших уже кормят!

— Постой, — говорит Вовка, — сначала найдем, где вином пахнет.

Пошли. Видим — пивная. У пивной человек стоит и хватает прохожих за рукава. Прохожие вырываются и дальше идут. А человек других хватает и на горло показывает. Мы подошли, а он Вовку схватил за рукав. У него рука рабочая. Кости там такие, рабочие.

— Вам чего? — говорит Вовка.

А человек на горло себе показывает. Сипит.

— Вам чего? — спрашивает Вовка.

Человек посипел, посипел, покашлял, потом говорит:

— Голоса нет у меня, ребята...

— А это что, — спрашивает Вовка, — чем вы тогда говорите?

Человек посмотрел на Вовку, потом на меня, и стал кричать:

— Сволочи, мерзавцы, гады, собаки, паразиты, ублюдки!

И еще другие слова, матерные. Вовка спрашивает:

— Это вы кого, нас ругаете?

А он:

— Черти, кровососы, убийцы...

И опять за горло взялся и сипит. Рукой машет. Дескать, уходите, дураки.

Мы пошли. По дороге Вовка говорит:

— Непонятно, в самом деле, как это у него голоса нет...

Я говорю:

— В самом деле, непонятно. Он же разговаривает.

— А сипит зачем? — спрашивает Вовка.

— Не знаю, — говорю. — Пусть себе сипит. Бежим, а то у меня живот к спине приклеивается.

— И у меня, — говорит Вовка. — А все равно того человека жалко.

Приходим в школу, навстречу худрук Павел Васильевич:

— Немедленно одевайтесь и в Дом культуры!

— А обедать? — спрашиваю.

— Чего ты ко мне пристал? — говорит Павел Васильевич. — Через полчаса концерт!

Вовка у ребят спрашивает:

— Обедали?

— Еще как! — отвечают.

— А мы как же?

— А вы опоздали!

Павел Васильевич опять на нас:

— Еще не одеты? Погоди, Кочерыгин, я до тебя доберусь!

— А мы, — говорит Вовка, — не обедали!

— Потом пообедаете! — говорит Павел Васильевич. — Сначала попоете! Живо одеваться!

Вовка мне говорит:

— И кому же в толк придет на желудок петь голодный!

Я говорю:

— Правильно!

Вовка говорит:

— Погоди, мы ему устроим. Пусть у нас голоса не будет!

— А как? — спрашиваю.

Тут Павел Васильевич на нас:

— До сих пор не одеты? Ну, Мартынов, держись! После концерта вы у меня с Кочерыгиным попоете!

Вовка шепчет: «Сипи!»

Я догадался и говорю одними губами:

— У нас, Павел Васильевич, голоса нет!

— Что-что? — спрашивает.

— Голоса нет!

— А-а, — говорит Павел Васильевич, — сейчас будет!

И за ухо меня.

Я говорю:

— А-а!!!

— Значит, — спрашивает, — есть? Бегом одеваться!

Он убежал, а ребята нас обступили.

— Что, Мясник, — спрашивают, — голосовые связки проверял?

— Ребята, — говорит Вовка, — это же нечестно — петь без обеда!

— Правда, — говорят, — нечестно.

— Ребята, — говорит Вовка, — давайте сделаем так, будто у нас у всех голоса нет, пока нас не накормят!

Ребята говорят:

— Так он не поверит!

Вовка говорит:

— Конечно, не поверит! А вы в знак протesta!

— Ну, — говорят, — протesta. Он нам дома такой протest устроит!

— Ладно, — говорит Вовка. — Черт с вами, с такими... Пришли в Дом культуры, построились на сцене, занавес раздвинули, и мы запели.

Вдруг Вовка меня за руку дергает:

— Не пой!

Я понял и не стал петь. И Вовка не поет. Смотрим на Павла Васильевича, рты разеваем и сипим.

А он хоть бы что — улыбается и подмигивает, чтобы веселей пели.

Вовка мне говорит:

— Не слышит!

Опять молчим. Все поют — мы не поем. Рты разеваем, на Павла Васильевича глядим.

А ему хоть бы что. Вдруг слышу, Вовка кричит:

— А мы не поем!

А он не слышит. Вовка кричит:

— Дурак, гад, сволочь!

А он не слышит.

Я кричу:

— Убийца, кровосос, очкарик!

А он не слышит! Все поют, мы кричим, а получается, будто молчим. Хор ведь громко поет!

Потом я станцевал, потому что тут никак нельзя, танцуют ведь ногами. А потом мы ужинать пошли, и Вовка мне говорит:

— А я понимаю, что такое тот человек говорил, что значит голоса нет!

— И я, — говорю, — понимаю...

Начало 60^{ых} годов

ПОБЕДА

Серая земля, голубое небо. У картофельной шелухи белые глаза.

— Ирина Петровна, зачем мы ее закапываем так глубоко? — спросил мальчик. — Ведь она не прорастет, у нее не хватит силы.

— Будем надеяться, что хватит, — сказала Ирина Петровна. — А ты молодец, правильно заметил. Шелуха слишком тонкая.

— А до войны сажали целую картошку? — спросил мальчик.

— До войны сажали целую...

— А чей это огород? — спросил мальчик снова.

— Это огород тракториста, — ответила Ирина Петровна. — На войне он был танкистом.

— «Танковый дивизион третьей дивизии прорвал оборону противника юго-западнее Перемышля и продвинулся вперед, подавляя пехоту противника огнем...»

— Что ты там бормочешь? — спросила Ирина Петровна.

— Это я так, вспомнил... — ответил мальчик.

— Массированные танковые удары сыграли решающую роль в продвижении наших войск к границе Германии... А он на чем воевал, на «КВ»?

— Не знаю... Вот он придет, и ты спросишь, — ответила Ирина Петровна.

— Значит, он вернулся? — спросил мальчик. — А почему он сам не сажает картошку?

— Он пашет колхозные поля, — сказала Ирина Петровна, — а мы посадим ему картошку на память...

— В честь победы, — сказал мальчик, — и чтобы он нас вспоминал, когда мы уедем.

Голубое небо, серая земля. У картофельной шелухи крахмальная изнанка.

— Ирина Петровна, а это правда, что в городе мальчики будут учиться отдельно от девочек?

— Да, правда, — ответила Ирина Петровна.

— А почему? — спросил мальчик. — Мне будет скучно без нашей Нади, и без Оли, и без Октябриной.

— Считают, что совместное обучение плохо влияет на детей, — ответила Ирина Петровна. — Они слишком рано начинают целоваться...

— Я кончил уже почти три класса, — сказал мальчик, — а мне еще ни с кем не хотелось целоваться. Я дружу с Надей Южаковой... нам будет трудно дружить, если мы будем учиться в разных школах. С Надей хорошо сидеть за одной партой, она не дает мне баловаться.

— Дети разные бывают, — сказала Ирина Петровна.

— Но все равно, по-моему, это глупо.

— По-моему — тоже, — сказал мальчик. — И кто только эту глупость выдумал? Когда взрослые заставляют делать глупости, их очень трудно слушаться, правда?

— Правда, умница моя, — ответила Ирина Петровна.

— Но, может быть, ты будешь учиться вместе с девочками...

— Вместе с Надей Южаковой? — быстро спросил мальчик.

— Не знаю, — сказала Ирина Петровна. — Ты не боишься порезать руки? В земле много стекла...

— Не боюсь. Я осторожно копаю... Земля мягкая... Скажите, «может быть» или правда?

— Что — правда? — спросила Ирина Петровна.

— Вы знаете, что, — сказал мальчик. — Я вас очень—очень прошу, вы ничего не говорите, только скажите, правда

— «может быть» или неправда... Ирина Петровна! Ирина Петровна...

Серое небо, голубая земля. У картофельной шелухи черные глаза.

— ...Ладно, Ирина Петровна, — сказал мальчик. — Я не буду спрашивать. Только Надя говорила, что она правда—правда уезжает.

— Надю вызывает тетя, — сказала Ирина Петровна. — Послушай, я боюсь за твои руки. Пойди, вытащи палку из плетня и копай палкой, как все...

— У меня тоже есть тетя, — сказал мальчик. — И даже дядя. И наш дом не разбомбили, и я помню адрес... А у Михайловых вообще никого нет, а они уезжают...

— Юрэ прислали вызов с завода, — сказала Ирина Петровна. — Он совершеннолетний и берет своих братишек и сестру. Когда ты подрастешь...

— Ирина Петровна, — сказал мальчик. — Я никого не буду слушаться, кроме вас. Честное слово.

— Тогда послушайся меня, вытащи из плетня палку...

— Ладно, Ирина Петровна, — сказал мальчик и ушел далеко—далеко, на край огорода, где плетень еще не был разобран на дрова.

Мальчик расшатывал стояк и смотрел, как дрожат прутья в дальнем конце плетня, где дом. Из дома вышел рыжий человек в гимнастерке, и мальчик подумал, что это танкист. Человек посмотрел на мальчика и медленно пошел к плетню. На гимнастерке качались и звенели медали.

Мальчик выдернул стояк и остался ждать, когда подойдет танкист. У танкиста было розовое лицо и сощуренные глаза, он шел медленно, и гимнастерка без ремня моталась над его длинными ногами. Танкист уже что-то говорил, но мальчик не мог разобрать слов.

— Мать твою так, — говорил танкист. — Растиющую твою мать, голодранец!

— Что? — спросил мальчик, хотя он понял, что надо убегать.

— Растили весь плетень, сучьи дети! — отчетливо объяснил танкист и протянул к мальчику волосатую руку.

Длинное голубое небо. Длинная серая земля. Ноги увязают в земле, потому что она сухая.

«Шелуха прорастет, — почему-то думает мальчик. — Дождь прибьет землю, и глазки прорастут...»

Длинное небо и очень длинная земля. Танкисту тяжело бежать. Но тихо так, что мальчику слышится хриплое дыхание совсем рядом. Над мальчиком нависает танкист. Тяжелые сапоги проваливаются в землю и топают—топают—топают у мальчика в голове. Мальчик оглядывается. За танкистом, как за танком, остается взрытая дымящаяся колея.

Длинная голубая земля. Длинное серое небо. На небе Ирина Петровна машет рукой, ребята собираются в кучу, как кусты.

«Только бы успеть до кустов», — думает мальчик.

Сверху, с земли на мальчика наваливается звенящая мокрая тяжесть. Волосатый кулак, как пушка, слепо ворочается впереди.

Мальчик побежал вбок, по серой земле протянулся плавно полукруг, звон и хрип остались сбоку. Мальчик пробежал за кусты, за ребят, стоящих как кусты, мимо белого лица Ирины Петровны.

Танкист развернулся и остановился около ребят.

— Не трогайте ребенка! — крикнула Ирина Петровна.

— Уймите паршивца, — сказал танкист. — Он весь плетень развалил.

— Простите его, — сказала Ирина Петровна. — Он травмированный.

— Какой? — задыхаясь, спросил танкист. — Я ему голову оторву!

Ирина Петровна встала перед ним, потому что он хотел бежать к мальчику.

— Он ненормальный, — сказала Ирина Петровна. — Оставьте его в покое, он больше не будет.

— Ненормальный? — спросил танкист.

— Да-да, — быстро сказала Ирина Петровна. — Ненормальный. Идите, отдыхайте, мы сегодня кончим сажать вашу картошку...

Танкист копнул сапогом землю.

— Глубоко сажаете, — сказал он. — Так не прорастет.

— Хорошо, — быстро сказала Ирина Петровна. — Будем, будем сажать мельче. Идите, пожалуйста.

Танкист уходил, медленно ступая по земле. Мальчик подошел к Ирине Петровне.

— Вы... — сказал он. — Вы... Я — нормальный. А вы... вы... Я — нормальный... А вы ненормальные.

Впереди удалялась зеленая спина танкиста.

— Я нормальный! — крикнул мальчик и побежал за ним.

Мальчик заметил у себя в руках палку и взял ее наперевес.

— Эй! — крикнул мальчик.

Спина удалялась.

— Эй, танкист!

Шея разворачивалась медленно, как башня. Блеснули щелочки глаз.

— Эй, танкист, слышишь — я нормальный! — радостно крикнул мальчик. — Ура!

Танкист выставил вперед ногу. Мальчик поднял в руках палку.

— Ура! — крикнул я. — Я нормальный! А ты — гад!

Палка стукнула танкиста в грудь. Он выбросил ногу.

Мальчик перевернулся в воздухе и упал. Потом он поднялся. Потом он долго рвал опухшими грязными пальцами мокрую, звенящую грудь и кричал торжествующе: «Я нормальный, нормальный, нормальный!!!...»

— Я отведу тебя к фельдшеру, — сказала Ирина Петровна. — Надо промыть царапины. Неужели ты не понимаешь? Он же пьяный.

— Все равно, — ответил мальчик. — Так нехорошо. Я нормальный. Не надо было вас слушаться. Не надо было брать палку. А теперь скажите — «может быть» или правда?

— Милый мальчик, — сказала Ирина Петровна. — Это правда. Правда. И я ничего не могу поделать.

— Ирина Петровна, — сказал мальчик. — Пусть вы такая. Я никого не могу слушаться. Я буду слушаться только вас. Пусть в школе будут одни мальчики. Я буду мыть вам пол. Я буду ходить в магазин. Буду варить обед и учиться на одни пятерки. Возьмите меня домой. Возьмите, а?

— Мальчик мой, — сказала Ирина Петровна, — ты же умный мальчик. Воспитателям не разрешают никого брать в город. Это правда.

— Ладно, Ирина Петровна, — сказал мальчик. — Это я так. Понарошке. Я же понимаю. Ладно.

Мальчик зажмурил глаза.

Земля была никакая.

Небо было никакое.

Никакая была картофельная шелуха.

1967

ОДНО ЛЕТО

Листьям жарко, и они шевелятся неловко, пытаясь отряхнуть с себя белые лучи. Под деревьями зато прохладно. Здесь прозрачные травинки, и клубника здесь растет желтоватая, тоже будто прозрачная. Она сочная и нежная на вкус, не то что на полянах. На полянах клубника красная, сладкая, от сладости даже языку щекотно. И так много ее, что можно закрыть глаза и ползти, находить по запаху спелые ягоды, обрывать губами.

Натка выползла из—под березы, волоча по траве жестянную банку. Позади затаихло ауканье, только изредка вспыхивал за деревьями чей—то смех. На поляне покачивались выцветшие колокольчики, и казалось, они позванивают тихонько.

Кусты дикой вишни и боярышника обступили поляну, загородили от дороги, будто прятали от прохожих ее сокровища — настоящий клубничный заповедник. Здесь пунцовевые ягоды выпирают из травы, млеют на солнце, и воздух от этого густой и тягучий, как варенье.

И ни человека, ни зверя, ни бабочки какой—нибудь. Только лесные клопы неуклюже взбираются на ягоды — сытые, ленивые лесные клопы.

«Я лесная королева, — думает Натка, — а полянка эта — мое царство—государство. А красные ягоды — слуги мои. Ну, мои слуги, полезайте в банку!..»

А за кустами — другое царство. Там живет монгольский князь с раскосыми глазами. Волосы у него, как у Веры Петровны, завязаны пучком на затылке. В руках у него — лук и стрелы. Он не любит ягод. Он охотится на диких зверей...

Заворочалось что—то в кустах.

— Ой! — крикнула Натка. — Кто это?

Не отвечают. Снова заворочалось. Сучья затрещали.

— Кто там есть живой? Выходи!

— У—у—у! — провыл кто—то басом.

— И не страшно, и не страшно! — говорит Натка и отползает тихонько под деревья.

— У—у—у! — повторилось.

— Что за зверина там воет? — спрашивает Натка. Молчание. Только кусты трещат, нехорошо так, тревожко.

— Не боюсь! — крикнула Натка.

— Мы—мххх... — ответила из кустов корова.

— Я — голодный серый волк, и я тебя съем! — говорит кто—то басом в кустах.

— Сенька! — радуется Натка. — Сенька! Выходи! Я тебя узнала!

— Я не Сенька, я — серый волк!

— Никакой ты не волк! Ты — монгольский князь с раскосыми глазами. Выходи! Я лесная царевна, и я зову тебя в гости.

И тогда из листьев высунулась расцарапанная Сенькина нога, за ней вторая, а дальше и весь Сенька в голубых застиранных трусиках, рыжий, с громадными веснушками на спине и на плечах.

— Заходи, уважаемый князь, — говорит Натка и разводит плавно руками. — Здесь все принадлежит тебе, только где твоя банка?

— Тут... — Сенька показывает пальцем на живот. — Два литра влезло, наверно. А скажи, лесная царевна, отчего ты такая красивая?

— Я красивая? — Натка удивляется и краснеет от удовольствия. — Ну, чего ты, Сенька, какая же я красивая? Это... ягоды красивые. Видишь, какие?

— Нет, ты, Натка, все равно самая красивая...

— Правда, Сенька? А что у меня... ну, красивое?

— Нос красивый, — говорит Сенька, — и волосы красивые... и глаза... и язык у тебя розовый и тоже красивый...

Натка смеется. Правда, как это здорово получилось. Вылез из кустов Сенька и сказал, что она, Натка, красивая. Раньше не говорил, что красивая, да и никто не говорил.

— Пойдем домой, — говорит Сенька. — Скоро обед.

— Сейчас, только полную банку насоберу... Знаешь, Сенька, а ты тоже красивый.

— Я некрасивый, — мрачно отвечает Сенька, — я рыжий.

— Правда, рыжий... — вздыхает Натка, — но все равно красивый...

— Еще чего, — смущенно бормочет Сенька. — Давай лучше я тебе банку насоберу.

— Не сумеешь, Сенька, я сама...

— Ну да, не сумею! Знаешь, я лучший собиралыщик клубники из всех князей, из всех королей! Вот посчитай до ста, нет... до двести.

— Раз—два—три—четыре—пять—шесть...

Натка лежит на траве, глаза прикрыла и посматривает сквозь ресницы на Сеньку. А он ползает по траве и пыхтит, пыхтит...

Не успеет Сенька, зря похвалился...

— Натка, вставай, готово!

Спит она, что ли? Губы приоткрылись, зубки влажные, а дальше темно и тепло, наверное, как в печке. Выбилась из—под косынки прядь, пересекла Натке щеку и приподнимается слегка от дыхания. Красивая Натка!

Сенька встал на колени, банку рядом поставил, наклонился над Наткой, заглянул под ресницы.

— Не спиши вовсе. Вставай, притвора!

— Ох, я спала, спала, — говорит Натка, протирая кулаком ясные глаза. — А ты уже кончил? Ну, пошли...

С лесной стороны дорога плотная, вся в узелках корней, а с полевой пыльной и сухая. Там ромашки на меже с васильками вперемешку. Белое и желтое одолевает голубое. Дальше пшеница стоит, и от блестящих стеблей падают на ровную землю маленькие тонкие тени. Сизые капустные грядки спускаются к озеру. Оно круглое и голубое, как небо. Только облачко, белое, круто взбитое, застряло посередине, и дальше крадется по горизонту клоакастое синее мелколесье.

— Ой, вляпалась!

Стоит Натка на одной ноге, а другая зеленая по щиколотку... Посреди дороги свежий коровий блин.

— Помоги, Сенька!

Оперлась Натка на острое Сенькино плечо, ногу вытирает пучком травы. Пальцы у Натки мягкие, и кожа на ладони гладкая—гладкая.

— Отчего у тебя такая гладкая кожа? — Сенька осторожно дотрагивается пальцами до ее руки. — А у меня вон какая...

У Сеньки вся рука в цыпках, пальцы красные и под ногтями темно.

— Не знаю, — отвечает Натка, — почему она у тебя такая. — И гладит легонько Сенькину некрасивую лапу.

Дальше пошли. У Сеньки в одной руке банка, а в другой — Наткины пальчики. Держит их Натка послушно в Сенькиной руке, не вырывает.

Кончился лес, луг начался, ветер дует, выворачивает листики клевера на бархатную изнанку. Пчелы летают. И корова стоит, черная, комолая, белые пятна по бокам.

— У-у, противная! — кричит Сенька.

— У-у, противная, — повторяет Натка.

— Мых-х-х... — ответила равнодушно корова, приподняла морду, жует свою жвачку, будто не она блин оставила на дороге.

— Ну ее, неряха! — говорит Натка. — А мы птенчика вчера поймали, щегленка. Он живой был сначала, а потом Женька Потапова с ним поигралась, и умер щегленок...

— А мы вчера блиндаж выкопали, — говорит Сенька, — настоящий, с крышкой. Все копали, а Вовка Кондрацкий один туда залез, в нас глиной кидался, никого не пустил.

— Задавала Кондрацкий!

— Правда, задавала, — отвечает Сенька и думает: «Молодец Натка, правильно говорит».

— Ой!

— Чего ты, Сенька?

— Пчела укусила...

— Вот какая... злая. А ты пососи руку, пройдет. Только как ее пососать, когда рука Наткины пальцы держит? Натка нечаянно крепче сжимает Сенькину ладошку и поднимает ее. Пухнет понемногу большой палец у Сеньки.

— Что, Сень, больно?

— Пустяк, — геройски отвечает Сенька.

Миновали луг. Разметался по земле горох, перепутался, выглядывают из-под листвьев лоснящиеся бока стручков.

— Сенька, ты смелый?

— Смелый, конечно.

— А что я тебе скажу — сделаешь?

— Сделаю, конечно.

— Горошку сорвешь?

— Нельзя, — вздыхает Сенька, — это будет воровство...

— Нет, Сенечка, я разве стручки прошу? Ты цветочки только сорви...

— Ладно...

Протянул руку, дернул стебель, а он весь выдернулся, с корнем.

— Правда, Сенька, ты храбрый... Это ведь ничего, что там нечаянно стручки остались. Мы ведь цветочки хотели! Мы не знали, что там и стручки есть... Давай съедим их, а?

Вот и дача показалась. За амбаром носятся малыши, вздымая черную пыль. Под ногами у них мячик, связанный из чулок. Маленький, еле видно.

Сеньке не по себе. Увидят — дразниться будут. Скажут: «Во, девчончик идет, за ручку!» Попытался выдернуть руку, а Натка крепко держит, не замечает. Хорошо Натке, а отчего — сама не знает. Вот малыши бегают — хорошие малыши. Курица присела, под амбар голову засунула — смешная курица...

— Смотри, Сенька, курица!

— Вижу...

— Бежим, Сенька!

— Бежим...

Прямо в середку, в самую схватку врезались, в мелькание голых локтей и голых коленей. Расступились малыши, тянут к Натке чумазые руки:

— Натка, дай клубничнику!

— Дай ягоднику, Натка!

— Мне одну только!

— И мне одну!

Величаво поднимает Натка руку, зачерпывает из банки пригоршнями. Оделяет щедро всех. Довольны малыши, и ей хорошо, не жалко.

— Не жалко, Сенька, правда, не жалко? Мы еще наберем...

«Добрая Натка, — думает Сенька, — хорошая девчонка. Вовка Кондрацкий хуже...»

И вдруг... Ох, какая злая идет Вера Петровна!

— Ты где шляешься, шалопай? Трясется сердито узел на ее голове.

— Он не виноват, Вера Петровна, его пчела укусила!

— Ты не суйся. Григорьев — в изолятор!

В изоляторе нет окошек, а дверь заперта снаружи. Но все светло. Потому что между трухлявыми бревнами щели светятся. Только дверь совсем темная. Узкий лучик тянется к стене из пробоя. Пахнет гнилым деревом и дегтем. Дегтем — от аптечки, которая в углу стоит.

Отчего вдруг стало так плохо жить на белом свете? Обида, и комок застрял в горле. Ничего нельзя без спросу делать — ни в лес сходить, ни купаться. А теперь — без обеда. И есть как раз хочется. Быстро ягоды переварились. Да и не хочется ягод. Супу бы, с лапшой. Натку, наверно, тоже без обеда оставят...

Сидит Сенька в углу на своих ногах и чувствует, как ему плохо живется на свете. И пальц распух,

болит...

На стене пятно бледнеет, шевелится в нем что-то... О-о, здорово! Перевернутые люди ходят по стене, не люди даже, а маленькие тени людей. Интересно как! Забор видно... Много людей идет куда-то. Обедать...

И правда, звенят поблизости ложки. У соседнего амбара столовая под навесом. Эх, проползти бы незаметно и зачерпнуть из котла полную поварешку!

— Сенька, Сенька... — шепчет кто-то за стеной. — Лови...

Из щели падает на пол картофельная лепешка, вся в масле.

— Натка?

В щелку видны Наткины глаза и немножко нос.

— Плохо тебе, Сенечка?

— Ничего...

— Ты потерпи, ладно?

— Да мне что, в первый раз, что ли...

— Держи еще! Верка идет...

Убежала Натка. Сенька сидит довольный, уплетает лепешки. Жалко, что Натка не мальчишка. Из нее бы хороший друг получился. А как это я ей сказал: «Красивая ты, Натка!» Правда, красивая и хорошая.

Отодвинули засов, дверь распахнулась. Ой, сколько света, и жарко как на улице! На пороге черная Вера Петровна.

— В последний раз прощаю. Иди на кухню обедать и сразу спать!

Похлебал Сенька холодного супу, лепешки съел, а на компот еле живота хватило. Ноги решил не мыть, проскользнул в амбар, накрылся одеялом с головой. Не видно его и не слышно. Спит Сенька.

А Натка не спит. Не спится Натке. Думает про Сеньку и про все, как сегодня было. Хочется Натке рассказать кому-нибудь, какой интересный был день до обеда и как Сеньку в изолятор посадили.

— Потапова, ты спиши? Женька... Кто, по-твоему, из мальчишек самый лучший?

— Вовка Кондрацкий... а по-твоему?

— А по-моему, угадай кто?

— Тоже Вовка.

— Не Вовка, а на букву «эс». Самый лучший... не скажу кто.

Вспоминает Натка Сеньку и придумывает, как после мертвого часа выпустят Сеньку и пойдут они вместе на пруд. Он будет головастиков ловить, а она банку держать. А потом пойдут в лес, и Сенька будет учить ее лазить на деревья...

— Кто в попа-загонялу? Кто в попа-загонялу?

— Я! — кричит Сенька. — Я хочу в попа-загонялу!

Вовка Кондрацкий набирает команду. В руке он держит биту и показывает концом, кого он себе берет.

— И ты, рыжий, хочешь?

Щурит глаза насмешливо.

— Хочу...

— А с девчонками играть больше не хочешь?

Откуда он только знает?

— Я в попа—загонялу хочу.

— Нет, рыжий, иди к девчонкам.

«А что он, — думает Сенька, — это он меня на пушку берет».

— И не играл я с девчонками.

— Не играл, говоришь?

— Нет...

— А с Наткой кто за ручку ходил? А горох кто на поле рвал? Думаешь, Кондрацкий не знает? Кондрацкий все знает... Отойди, ну!

— Вовка, Вовка, возьми меня! (Эх, зря я с этой Наткой связался!) Возьми, Вовка, я больше не буду!

— Не будешь, говоришь? А докажешь?

— Докажу...

Натка стоит на крыльце и смотрит на мальчишек. Вон Вовка, а рядом Сенька. Неудобно Натке при мальчишках Сеньку звать. «Подожду, пока уйдут».

— Во—он она, твоя Натка! — говорит Кондрацкий. — Смотри, тебя ждет.

От этого ехидства внутри у Сеньки становится холодно, гусиная кожа покрывает руки.

— Ну, иди, рыжий, чего стоишь?

— Не пойду я...

— Ладно, я тебя беру...

Что это? Сжалился Вовка? Непохоже на него.

— ...только с уговором, согласен?

— Согласен.

— Ты пойдешь к Натке и... что бы такое, а? Ладно, просто дерни за косичку.

— За косичку?

— Что, жалко? Не можешь? Эх ты, трус рыжий!

— И не трус я...

— Не можешь, рыжий, не можешь.

В голове у Сеньки каша: поп—загоняла, Натка, Вовка... «Вот пойду и дерну, докажу!»

А Натка видит, что Сенька к ней идет, и радуется. Хочется сказать ему что—то хорошее. Краснеет Натка, потому что видит: смотрят на нее мальчишки, а Вовка что—то говорит и кивает на нее.

— Выпустили тебя, Сенька?

— Выпустили. Обедать дали...

— А сейчас что будешь делать?

— ИграТЬ...

— А я хотела головастиков ловить. И на дерево залезть. Пойдем?

— Не, Натка...

— Ну пойдем, Сенечка!

— Нельзя, Натка!

Оглядывается Сенька, а там Вовка злорадно головой качает...

Тяжелая стала рука у Сеньки, никак не поднять.

— Натка!

— Что?

— Вот...

Дотянулся Сенька до косички, дернул слегка.

— Что ты делаешь, больно!

— Прости, Натка, я нечаянно...

— Сенька! Мы ушли!

Это Вовка кричит: «Мы ушли, рыжий! Оставайся, трус несчастный!»

Засмеялись мальчишки, побежали к воротам.

— У—у—у! — взвыл Сенька. Схватил косичку, дернул изо всех сил. — Ой, подождите, Вовка! Я уже...

Брызнули у Натки слезы. Спрыгнул Сенька с крыльца и легко—легко помчался за мальчишками.

— Сенечка, что ты...

Ничего не понимает Натка. Было солнышко, клубника. Ведь было! И горох Сенька для нее рвал. «Ты, Натка, самая красивая».

Ничего не понимает Натка, и от этого текут у нее крупные слезинки. Солено во рту и горько.

Побежала Натка в спальню — хорошо, что нет никого, — бросилась на кровать и заплакала, и заплакала, в подушку уткнулась. Теплая подушка, мягкая. Плотная. И там, где капают горькие Наткины слезы, наволочка становится холодной и твердой.

А Сенька убежал с мальчишками далеко—далеко по дороге, к пыльным зарослям лопухов, к пустынному выгону, покрытому короткой травой...

Начало 60^{ых} годов

ПОДОЗРЕНИЕ

С утра все ходили мрачные. Но разговаривали громко, потому что, если бы кто-нибудь увидел, что кто-то с кем-то шепчется, он мог бы подумать, что тут дело нечисто.

— Валька, после завтрака к Аннушке!

После завтрака к Аннушке? Вот это штука!

— А кого еще вызывают? — спросил я.

— Аннушка сказала — только тебя! — крикнул Шурка Озеров.

Неужели за то? Неужели на меня думают?

Я подошел к Шурке Озерову. Хотел спросить, за что меня вызывают. Но Шурка подумал, что я хочу тихо его спрашивать. Он отодвинулся и встал за кровать.

— Ну, чего ты? — спросил я.

— Не подходи! — крикнул Шурка.

— Дурак, — сказал я. — А за что вызывают, не знаешь?

— За то самое...

Все посмотрели на меня, а потом на Шурку.

— Вот эт-та да-а! — сказал Толька Яковлев совсем так, как говорит столяр дядя Вася.

Тогда я обозлился.

— Ну, чего на меня уставились?! Дурак болтает, а вы слушаете!

Шурка смолчал. И все перестали на меня смотреть, потому что я крикнул. Если бы я не крикнул, на меня бы неизвестно что подумали.

Мы пошли завтракать. Петр Михайлович, как обычно, проверял перед столовой руки. Только он на этот раз заглядывал в глаза всем подряд.

И все смотрели ему в глаза, потому что Петр Михайлович считал, что честный человек всегда будет прямо смотреть в глаза.

Когда очередь дошла до меня, я подумал, что тоже посмотрю ему в глаза.

Петр Михайлович взял мою руку в свою и засучил мне немного рукав. Ладонки у нас были всегда более или менее чистые, а вот дальше могло быть чуть грязнее. Но на этот раз руки у меня были чистые до локтя. Я вымыл их еще с вечера, когда испачкался в чернилах. Мы разливали чернила в непроливашки, вот я и испачкался.

Петр Михайлович задержал мою руку. Я забыл, что надо смотреть ему в глаза, и посмотрел, где он у меня на руке грязь увидел.

Грязи нигде не было. Петр Михайлович легонько толкнул меня в спину, как он всегда делал, если все было в порядке.

Когда мы уселись за стол, пришла Анна Семеновна. В этом тоже не было ничего необычного. Она любила смотреть, как мы едим. Особенно ей нравилось поймать кого-нибудь, кто прячет в карман хлеб. Она заставляла тогда есть хлеб от завтрака на обеде, а от обеда — на ужине. Ну, а от ужина хлеб уже не полагался. Если человек не съедает того, что ему дают, значит он не хочет. Это всем понятно.

Анна Семеновна ходила взад и вперед по столовой и хрустела пальцами. Было слышно, как она хрустит пальцами, потому что все перестали есть и смотрели потихоньку, как она переживает. А переживала она здорово. Я подумал, что так можно все пальцы переломать.

Потом она резко повернулась на каблуках и вышла из столовой.

После завтрака наша группа была у столярки. Копали ямы для столов. Любовь Марковна была там же. Я подошел и сказал:

— Любовь Марковна, дайте мне лопату.

Я думал, она будет ругаться, что я опоздал, но она сказала:

— У Анны Семеновны был?

— Нет еще. А что?

— Ничего, — сказала Любовь Марковна. — Тогда копай.

Я подумал, что пронесло. Стал копать. И увидел, что нет Шурки Озерова и Тольки Яковлева.

Соседнюю яму копал Вовка Кондрацкий. Я подошел к нему и спросил:

— Где Шурка? Где Толька?

— Громче спрашивай! — крикнул Вовка.

И я понял, что еще не пронесло, что с «тем самым» еще ничего не выяснили.

Смотрю — Шурка Озеров идет.

— Валька, к Анне Семеновне!

Анна Семеновна ходила взад и вперед по кабинету. Она до сих пор не перестала переживать. Пальцы так и хрустели. Она подошла ко мне и взяла за плечи.

— Смотри мне в глаза! — сказала она.

Я стал смотреть. Глаза у Анны Семеновны были коричневые, с желтыми прожилками, белки сплошь в красных веточках, даже страшно стало.

Анна Семеновна тоже стала смотреть. Она наклоняла голову направо и налево, отодвигалась и приближалась. Что она только разглядывала, до сих пор не пойму!

— Ты знаешь, Мартынов, — сказала она, — случилась крупная неприятность.

— Какая? — спросил я, глядя ей в глаза.

— Ты не знаешь, какая?

— Нет, — сказал я.

— А почему ты покраснел?

— А не покраснел, — сказал я.

— Ну, как же не покраснел! Вон щеки какие красные!

— Они у меня всегда такие.

— И лоб всегда такой?

— И лоб такой... Анна Семеновна, можно мигнуть?

— Мигни, пожалуйста, — сказала она.

Я мигнул. У меня уже глаза устали смотреть на Анну Семеновну.

— Ну, так не знаешь?

— Нет...

— Тогда я тебе скажу.

Она подошла к открытому шкафу, где лежали тетради.

— Ты ведь знаешь этот шкаф? — спросила она.

— Знаю, — сказал я.

— Ты его не открывал случайно?

— Я не случайно, — сказал я.

— Так, значит, нарочно?

— Ну да...

— А что тебе в нем понадобилось?

— Мне ничего не понадобилось, — сказал я. — Я непроливашки туда ставил. Вот эти.

— А потом? — спросила Анна Семеновна.

— А потом я закрыл и ушел. Вы же здесь были, Анна Семеновна, когда я уходил.

— Это верно. — Анна Семеновна замолчала.

Я смотрел на нее, а на шкаф не смотрел. Подумает еще что-нибудь.

— А что на той полке лежало, ты не помнишь?

— Помню, — сказал я. — Там лежали тетради.

— И...

— Что — «и»?

— И что еще?

— И эти, как их...

— А почему ты покраснел?

— Да не покраснел я, Анна Семеновна!

— Как же не покраснел! Ты и в тот раз покраснел. И теперь снова.

— Ну и что, что покраснел? — сказал я. — Там лежали еще резинки и карандаши. А больше я ничего не знаю.

— Правильно, — сказала Анна Семеновна. — А теперь смотри мне в глаза и говори, откуда ты знаешь, что там лежали резинки и карандаши.

Вот когда она меня поймала! Мне не полагалось знать, что лежало в коробках на той полке. Но я знал, потому что, когда ставил непроливашки, открыл коробки и посмотрел, что там лежит. Нельзя было удержаться!

— Я не брал, Анна Семеновна! Я только посмотрел, — сказал я.

— А я и не думаю, что ты брал, — сказала Анна Семеновна. — Ты ведь честный мальчик и никогда не станешь брать без спросу.

— Ну, конечно.

Я и не думал, что так легко отдалась.

— Смотри мне в глаза, — сказала Анна Семеновна и снова взяла меня за плечи. — Ты честный мальчик, и сейчас мне все—все расскажешь по порядку. Я отпущу тебя, и мы больше никогда не будем об этом вспоминать. Только говори правду.

И она опять стала меня разглядывать. Я молчал, потому что не знал, какую еще правду ей от меня надо.

— Ну, что же?

— Я не об этом, — сказала Анна Семеновна. — Мы уже договорились, что ты не брал. Все будут знать, что ты не брал, а мне ты расскажешь все, как было.

Вот привязалась! Скажи ей да скажи! Выдумывать я буду, что ли?

— Ну, хочешь, я помогу тебе? Была ночь... Ведь правда?

— Ну, была, — сказал я.

— И ты спал.

— Ну, спал...

— Потом ты проснулся... ночью.

— Правильно, проснулся...

Откуда она только узнала, что я ночью просыпался? И наядедничать никто не мог, потому что я не вставал. Полежал тихо и снова заснул.

— Ну, рассказывай дальше!

— А потом я снова заснул.

— Это я знаю, — сказала Анна Семеновна. — Потом ты заснул и спал до утра. Я не знаю только, что ты делал, когда проснулся.

— Я полежал немножко...

— И...

— И заснул.

— Да нет, — раздраженно сказала Анна Семеновна, — ты не то говоришь. Это мы всем остальным расскажем. А мне ты по—другому, по—настоящему расскажи!

— Да это и есть по—настоящему, — сказал я. — Я заснул и проснулся утром, Анна Семеновна, честное слово!

— А почему ты покраснел?

— Не знаю.

— Встань туда, — Анна Семеновна показала рукой на шкаф. — Поверни лицом к шкафу! Так... А теперь слушай. Я расскажу тебе то, чего ты не хочешь рассказать сам.

Я стал смотреть на пустую полку, а она стала рассказывать:

— Ты проснулся ночью и увидел, что все спят. Тогда ты тихонько слез с кровати и надел туфли...

Она замолчала. Она хотела посмотреть, как я к этому отнесусь. Но я никак не отнесся. Пусть

выдумывает дальше! А там видно будет.

— Надел туфли, — повторила она. — Те самые, которые сейчас на тебе. У них очень заметный след, правда?

— Правда, — сказал я. На подошвах моих туфель были рубчики.

— Потом ты тихо вышел из спальни и тихо пошел по коридору... Ты дошел до уборной. Правильно я говорю?

— Не ходил я в уборную! — крикнул я.

— Разве я сказала, что ты ходил в уборную? Я сказала: «Дошел до уборной». Потом ты увидел Сонечку...

— Да не видел я никакой Сонечки!

— Ну как же не видел, раз она тебя видела?

— Эта дура ничего не видела! Она выдумала!

— Нехорошо, Валя, называть Сонечку дурой, — мягко сказала Анна Семеновна. — Ты же знаешь, что она инвалид. Она же не виновата в этом.

— Инвалид... Болтает сама не знает что своим язычиной!

— Да, — сказала Анна Семеновна, — у Сонечки парализован язык, а если ты будешь таким злым, и у тебя парализует... Но не это главное. Она тебя видела, и ты ее увидел. Тогда ты зашел в уборную...

— Да не ходил же я!

— Постой, — сказала Анна Семеновна. — Ты не хотел сам рассказывать, так слушай. Потом ты тихонько вышел из уборной и увидел, что Сонечка уснула. Ты открыл окно в коридоре! — сказала она вдруг, повышая голос. — Ты вылез из окна и пошел вдоль барака!

Я представил себе, как я вылезаю из окна темной ночью и иду вдоль барака, спотыкаясь и скользя по мокрой глине. Мне стало холодно и страшно. По спине побежали мурашки.

— Ты смелый мальчик, — сказала Анна Семеновна. — Никто из ребят не решился бы выходить на улицу в такую темную, дождливую ночь. Но ты шел!

— Честное слово, я бы тоже побоялся.

— Разве ты не смелый? — спросила Анна Семеновна.

— Не знаю, — сказал я.

— Нет, ты — все-таки смелый. Выйти на улицу ночью — еще куда ни шло, но ты добрался до окна кабинета и открыл его. Как это ты сделал, сама не пойму! Снаружи открыть окно и ничего не сломать, причем в темноте. Ну и ловкий же ты!

— А чего здесь сложного! — сказал я. — Это все умеют.

— Вот интересно! — сказала Анна Семеновна. — Ну-ка, покажи! Хотя нет, постой, лучше расскажи.

— Я бы рассказал, — сказал я, — но это не я придумал.

Я не знал, как выпутаться. Сболтнул сдуру, что умею форточку открывать, а теперь она узнает, и нельзя будет по вечерам удирать в городской сад.

— Это неважно, что не ты, — сказала Анна Семеновна. — Ты не бойся: все останется между нами.

— Давайте, я лучше покажу, — сказал я.

— Нет, нет, — сказала она. — Расскажи лучше, что было дальше.

— А что было дальше?

— Ну, ну, после того, как ты открыл форточку.

— Так я же вообще умею, я в тот раз не открывал...

— Ты открыл окно?

— Нет, окно я не умею.

— Если не окно, так форточку. Это не так важно, — сказала Анна Семеновна. — Мы остановились на том, как ты пролез в форточку и подошел туда, где ты сейчас стоишь. Шкаф был закрыт на замок...

— Не был он закрыт на замок, Анна Семеновна! Когда я уходил, не было замка!

— Ну, вот, видишь, ты почти все и рассказал!

— Вечером не было замка.

— Ах, вечером, — сказала Анна Семеновна. — А почему ты покраснел?

— Анна Семеновна, — сказал я, — честное—пречестное слово, ничего такого не было! Не брал я тетрадей, не брал карандашей!

— А резинки? — спросила Анна Семеновна. — Может быть, все остальное взял кто—нибудь другой?

— Конечно, кто—нибудь другой, — сказал я.

— А ты — только резинки...

— Не брал я резинок, Анна Семеновна! Вы же знаете, я никогда ничего не брал. Меня же никогда не ловили на таком...

— По—твоему, не пойманный — не вор? — спросила Анна Семеновна.

— Не знаю, — сказал я. — Только я не вор, и зря вы на меня говорите...

Анна Семеновна встала и взяла меня за плечи. Она подвела меня к окну и сказала:

— Я знаю, что ты мальчик честный и не вор, но один раз тебя, как говорится, лукавый попутал. Я понимаю, тебе очень хочется, чтобы этого не было. Ты очень жалеешь, что это случилось, и никогда больше не будешь ничего брать...

— Анна Семеновна! — сказал я. — Никакой меня лукавый не путал, не знаю я, чего вам от меня надо, не хочу больше здесь стоять.

— А это чей след? Разве не лукавого? — торжествующе спросила Анна Семеновна.

На желтой глине у самого окна был отчетливый след от туфли. Бороздки в нем были точно такие, как рубчики на моей туфле.

— Узнаешь? — спросила Анна Семеновна.

— Так ведь у всех такие туфли, не у меня только, — сказал я.

— Но ведь размер твой! Хочешь, сходим померяем?

— Нет, — сказал я и топнул ногой. — Нет, это неправда. Это не мой след. Не брал я тетрадей, не брал карандашей, не брал резинок. — И я еще раз топнул ногой.

— Не топай ногой, Валя, — подозрительно ласково сказала Анна Семеновна. — Не ты, так не ты. Иди гуляй. Я никому не скажу о том, что здесь было. Я думала, у тебя хватит мужества признаться. А ты

разнервничался, как девчонка. Иди! Я заплачу за тетради из своего кармана. Не думай, что он такой у меня большой. Просто я не хочу, чтобы ребята к началу учебного года остались без тетрадей. И пусть то, что лежит на твоей совести, будет тебя вечно мучить. Ты свободен, иди!

Я вышел из кабинета злой. Ведь было же совершенно ясно, что это не я. Я походил по коридору и придумал, что делать. Меня мучило что-то. Не совесть, а что-то другое. Я подумал, что, если сделаю то, что решил, это не будет меня мучить.

Я вернулся к кабинету и постучал.

— Войди, — сказала равнодушным голосом Анна Семеновна.

Она будто знала, что я вернулся.

— Анна Семеновна, — спросил я, — а какие там тетради были? В клеточку или в линеечку?

— Пятьдесят в клеточку и пятьдесят в линеечку, — сказала она как-то нехотя, не поднимая головы от бумаг.

Я не знаю, что она подумала насчет моего вопроса, но почему-то ответила.

— А карандашей была одна коробка?

— Одна, — сказала Анна Семеновна.

— А резинок?

— Тоже одна.

— Ладно, — сказал я. — Спасибо, Анна Семеновна. — Мне хотелось сказать ей, что я принесу все это, но я подумал, что лучше потом. Пусть-ка она удивится! И пусть на меня не думает.

Деньги у меня были. Я их заработал, когда был книгоношем в библиотеке до отъезда на дачу. Побежал в магазин.

— Дайте сто тетрадей, и коробку карандашей, и коробку резинок! — сказал я.

— Сколько, сколько? — спросила продавщица. Я повторил.

— Поди-ка сюда! — сказала продавщица.

Она протянула руку и дотронулась до моего лба.

— Холодный, — сказала она удивленно.

— А что? — спросил я.

— Я думала, у тебя температура.

— А разве нельзя? — спросил я.

— Да у тебя и денег-то столько нет, — сказала продавщица.

— А сколько надо?

Она посчитала на счетах и сказала:

— Тридцать шесть восемьдесят!

— Ого! А откуда вы знаете, что у меня нет?

Я сказал это, чтобы выиграть время. Надо было быстро решать, что делать. Денег не хватало. У меня было ровно тридцать. Я стал вспоминать, как поступили два мальчика из Одессы, у которых не хватало денег на электрическую машину. Они, кажется, купили что-то другое. Мне же нельзя было покупать

другое.

Продавщица сказала:

— Ты же еще не работаешь.

— Откуда вы знаете? — Я показал ей свои деньги в кулаке.

— Да я все равно столько тетрадей тебе не дам, — сказала продавщица. — На что тебе столько?

— Как на что? Писать!

— Иди домой, — сказала продавщица. — Нечего тут торчать. Можно пять штук...

— А наши ребята на чем будут писать? — спросил я.

— Какие — ваши?

И я понял, что мне повезло.

— Наши, детдомовские, — сказал я.

— С этого бы и начинал.

Продавщица провела меня за прилавок. Стала выписывать счет. Я сказал, чтобы всего было на тридцать рублей. Черт с ним! Накоплю еще и куплю остальные. Она отсчитала мне пятьдесят тетрадей в клеточку и четырнадцать в линеек. И дала коробку карандашей и коробку чернильных резинок.

— Иди теперь, — сказала она и отвернулась.

И напрасно отвернулась, потому что я схватил полную пачку тетрадей в линеек и бросил на пол неполную. Сам не знаю, как это у меня вышло.

— Что ты там на пол бросаешь? — спросила продавщица.

Я стал удивительно спокоен и ловок. Я сказал:

— Так, это тетради.

— Ну, беги, — сказала продавщица.

И я побежал. Да еще как!

Я понял, что за мной не гонятся, только когда прибежал к бараку. Я снял курточку, накрыл ею свою ношу и вбежал в коридор. Растигивая встречных, я влетел без стука в кабинет и положил тетради и коробки Анне Семеновне на стол.

Анна Семеновна встала из-за стола и посмотрела на меня восхищенно.

— Я не ошиблась в тебе, — сказала она. — Молодец! — И поцеловала меня в лоб.

Это показалось мне странным.

— И все остается между нами, — сказала она. — Я верила в тебя!

Что там остается между нами? Что я свои деньги истратил? Вот новость! Я, конечно, не сказал ей, что на свои купил. Я даже счет по дороге порвал и выбросил. Но она-то откуда об этом знает?

— И не думайте на меня всякое разное, — сказал я с упреком.

— Ну, конечно, нет! — сказала она нежным голосом, и я понял, что она ничего не заметила.

— Валька признался! — услышал я писк какой-то девчонки, которая подло подслушивала у двери.

И по всем спальням зажужжало:

— Валька признался! Валька признался!

И сразу стало тихо, потому что все поняли, что бояться нечего.

Ко мне подошел Шурка Озеров, а за ним Толька Яковлев.

— Дурак, что признался, — сказал Шурка Озеров тихо. — Мы с Толькой не признались.

— А я и не признавался. Я на свои купил.

— Ну и дурак! — сказал Толька.

— Она к нам и так и этак приставала, — сказал Шурка.

— «Это, — говорит, — твой след на глине...»

— «Ты, — говорит, — ночью ходил...»

— «Тебя, — говорит, — Сонечка видела...»

— А ты не краснел? — спросил я Тольку.

— Нет, — сказал он.

— А ты? — спросил я Шурку.

— И я нет, — сказал Шурка.

— А я краснел, — сказал я.

— Ну и дурак, — сказал Шурка.

1959

НИЧЕЙ БРАТ

Андрею Битову

За двумя дверями глухо прошумела вода. Кораблев прошел умывальную на цыпочках, неслышно приоткрыл дверь и высунул в щель красный нос — руль, румпальник.

— Ладно, выходи, — сказал Мясник. — Не прячься. Вижу твой румпальник.

Нос исчез, и дверь стала медленно закрываться.

— Большой, не бойся... — равнодушно сказал Мясник. — Ты, наверно, думал, что я буду спрашивать три рубля. У тебя есть, я знаю, ты вчера Маленькому дал. А я подожду до стипендии, как ты сказал. Он же тебе брат, правильно, а я тебе никто. Если бы я тебе был брат, ты бы мне тоже дал, правда?

— А ты не обманываешь? — спросил Кораблев из-за двери. — Ты не побежишь за мной в техникум? Не будешь кричать на всю улицу, что я не отдаю три рубля за хлеб? Что я обманщик и вор?

— Нет, Корабль, я не буду, — сказал Мясник. — Это я в прошлом месяце кричал, потому что ты обещал сразу, а уже вон сколько не отдаешь. Я в тот раз кричал потому еще, что Кочерыга получил премию за мой рисунок, а половину шоколадки отдал Ковалю, а мне ничего не дал. А когда я стал кричать, что он зажил, Коваль меня побил. Это я срываю на тебе свою злобность, понятно?

— Ладно, верю, — сказал Кораблев, выходя из-за двери. — Запомни, что карточки теперь отменены и я могу на три рубля купить много хлеба, больше, чем ты мне продал тогда, раз в пять.

— Я поэтому так и говорю, — сказал Мясник. — Я же знаю, ты теперь самый богатый человек во всем детдоме, потому что ты клал свою стипендию на сберегательную книжку, а воспитатели не клали деньги, и у тебя после обмена денег все сохранилось. Ты вообще прости, что я напоминаю, я уже даже не помню, как дал тебе хлеб. Все равно будто я его съел и тебе не продавал. Просто мне очень хочется три новых рубля. А то у Маленького есть, у Кочерги есть, у Борьки Петрова есть, а у меня нет. Ты мне даешь совсем новую денежу, хрустящую, да?

— Самую новую, — сказал Кораблев. — Сразу после стипендии. Вечером. А сейчас мне пора не лекции. Ну, мы с тобой...

— ...одной породы... — сказал Мясник и потянулся носом к красному носу Кораблева.

— Вытри сопли, — сказал Кораблев. — Негигиенично. Ну, мы с тобой одной породы, ты и я, ты и я...

— Одной породы, ты и я, ты и я... — равнодушно повторил Мясник, целуясь носом с румпальником Кораблева. — Твоим носом удобно целоваться, он большой.

— Пока, я пошел, — сказал Кораблев.

— А галстук ты сам купил? — спросил Мясник.

— Сам... — ответил Кораблев, разглядывая на себе синий галстук в красную полоску.

— И эту штуку...

— Зажим? Тоже сам...

— Постой, — крикнул Мясник, не слезая с подоконника. — Как называется у тебя в техникуме самый главный человек? Я забыл.

— Декан, — сказал Кораблев.

— Ага, декан... Дикан, дукан, кукин, истукан, исдукан...

Мясник подобрал рукой брюки и сполз с подоконника.

— Щечки розовые, ручки мяконькие, у-у, толстячок—мясничок! — пропел Кораблев и выбежал из барака.

Мясник, поддерживая брюки, вышел следом и, вытирая нос рукавом, проводил взглядом Кораблева. Большой Кораблев вышагивал по деревянному тротуару, уже далеко.

«Он все равно боялся, что я побегу за ним, — подумал Мясник. — Новые три рубля похожи на царские деньги, только на них советский герб. А стакан сои все равно стоит один рубль, хоть и на новые деньги. Я бы уже всю сою давно съел, если бы Корабль отдал деньги, а теперь потом съем... Только когда... Вот был бы я кораблевским братом... Странно как: брат. Ничего такого особенного, просто брат, а ему дают деньги. Только называется: брат. Большой Корабль играет со мной больше, чем с Маленьkim, а деньги ему дает просто так. А мне он, может быть, совсем не отдаст, потому что я ничей не брат. Ничей брат. Как это понять: ничей брат? Это будет считаться, что я ничей брат специально, а всехный будто бы брат. Будто брат всех, надо правильно говорить!»

Кораблев скрылся за поворотом, и Мясник направился к Солнечной стороне. Пока он вытирал нос то одним, то другим рукавом, у него совсем съехали брюки и держались теперь только на бедрах. Поэтому Мясник шел медленно и незаметно для себя надувал живот, надеясь оттянуть момент, когда брюки сползут окончательно.

Брюки все—таки сползли прежде, чем Мясник успел добраться до Солнечной стороны. Мясник по—прежнему пучил живот и заметил, что брюки сползли, только по холодному ветерку, пролетевшему между ногами.

— Ну, что, брат брюки, — спросил Мясник, — опять не держитесь? Что мне придумать, чтобы вы держались? Вам нужен — брат ремень, только я его давно потерял, и на следующей проверке нам с вами крепко влетит. Ага, хорошо, что вы большие, это нам с вами просто повезло...

Мясник подобрал брюки и нырнул в них плечами. Руки от этого оказались связанными, это было неудобно для носа, но Мясник попробовал дотянуться носом до плеча, это удалось, и тогда он быстро вышел на Солнечную сторону.

Встав на углу, Мясник окинул взглядом освещенную стену барака и всех—всех—всех, кто играл вдоль этой стены. Впереди играли девчонки, вдали мальчишки.

«Здравствуйте, братья и сестры! — подумал Мясник. — Если бы у меня была стипендия, я бы всем вам дал по три рубля. Но хитрый дикан не дает мне стипендии, хотя я продал ему по карточкам целый ящик хлеба на старые деньги. А теперь деньги новые, гладкие зеленые трешки, похожие на царские, только с советским гербом, они нравятся дикану, и он их не дает. Вот какая история случилась с трешками и диканами...»

«Здравствуй, сестра болгарка Анька, — подумал Мясник, глядя, как она прыгает через веревочку, придерживая ладонями короткую юбку. — Раз—два—три—четыре — ...восемнадцать... двадцать пять... А я могу сто».

Мясник приблизился к веревочке и стал раскачиваться, готовясь прыгнуть.

— Отойди, Мясник! — крикнула на скаку Анька, скосив на него бешеные глаза.

— Убирайся, Мясник! — закричали две девочки, которые крутили веревку. — Убирайся, мы прыгаем на спор.

— Я тоже могу на спор, — сказал Мясник и стал ждать, пока Анька запутается.

Анька сразу же запуталась.

— Проспорила, проспорила! — закричали две девчонки.

— Это из-за тебя! — крикнула Анька.

— Ну да, из-за меня, — сознался Мясник. — Я ждал, когда ты запутаешься. Если бы я не ждал, ты бы не запуталась. И еще из-за волос. Ты держала юбку, а волосы лезли в глаза.

— Ну да, из-за волос! — крикнула Анька. — Не из-за волос, а из-за тебя! Вот стащу с тебя брюки...

— Они и сами спадывают, — сказал Мясник. — Видишь, плечами держу. Давай лучше я за тебя допрыгаю.

— Можно, он допрыгает? — спросила Анька.

— Нет, нет, проспорила, проспорила! — закричали девчонки.

— Девочки, — сказал Мясник. — Скажите, пожалуйста, а если бы я не подошел, Анька бы не запуталась?

— Я бы не запуталась! — крикнула Анька. — Пусть он допрыгает!

— Ладно, — сказала одна девочка. — Только пусть руки не вынимает.

— А я и не могу, — сказал Мясник. — Брюки свалятся.

— Пусть допрыгает, — сказала вторая девочка. — Шестьдесят семь.

— Прыгай, — сказала Анька. — Если запутаешься, брюки стащу...

— А они и так спадут, наверное, пока я буду прыгать, — сказал Мясник. — Вы тогда отвернитесь, не смотрите, ладно?

— Ну, ну! — крикнули девочки и закрутили веревку.

— Раз—два—три—четыре — прыг—скок, прыг—скок — так—так—этак — так — квак—так — и — не так — а вот — так — и — еще — еще — еще — немножко — сваливаются — но — ничего — подержу — еще руками — растопырю — кулаками — я без рук — я без рук — ловко — прыгаю — без рук...

— Хватит! — крикнула одна девочка. — Пусть он перестанет!

— Нет, пусть еще! — крикнула Анька. — Пусть я выиграю!

— Нет, пусть он перестанет! — крикнула вторая девочка.

— Я еще—еще могу! — крикнул Мясник.

— Сто десять! — крикнула Анька. — Хватит, Мясник! Я победила!

— Я еще—еще—могу! — ответил Мясник. — Ты—не—бойся — я—могу!

— Я перестану крутить! — крикнула одна девочка.

— И я перестану! — крикнула вторая.

— Мясник! Брюки стащу! — крикнула Анька.

— А за—что—за—что—за—что — я—ведь—прыгаю—еще? — спросил Мясник.

— Скажи ему, чтобы он перестал! — крикнула одна девочка.

— Все равно не считова! — крикнула вторая.

— Двести! — крикнул Мясник и остановился. Девочки еще кричали и продолжали крутить.

— Ну, кто спорил? — крикнула Анька. — У меня двести!

— А двести не считается! — крикнула одна девочка. — Мы до ста!

— Это Мясник выиграл! — крикнула другая девочка.

— А Анька тут не считается.

— Погодите, девочки, — сказал Мясник, подпрыгивая на месте. — Не шумите. Сейчас я вас рассужу. Я прыгал не за себя, а за Аньку. У вас по скольку? Сто два и сто? Значит, Анька выиграла. А я тут не считаюсь.

— Ага, я выиграла! — крикнула Анька. А Мясник пошел дальше.

«Молодец сестрица Анька, — думал Мясник. — Анька прыгнула на двести, если я ей помешал, значит, это был нахал. То есть вышло, то есть вышло, ну а я тут ни при чем. Я иду себе иду, к Кочерыге подойду. Кочерыга милый брат, я тебе немного рад. Почему немного рад? Я тебе ужасно рад!»

— Ой! — вскрикнул он.

Без рук поворачиваться было неудобно, и, пока Мясник поворачивался, Анька успела влепить ему еще две пощечины по спине.

— Вот как больно ты дерешься! — сказал Мясник. — Это потому, что ладошкой. А у меня руки заняты брюками, и я не могу защититься. Это ты понарошке, да?

Анька стояла с поднятой рукой, раздувая ноздри, и гневно косилась на Мясника.

— Не понарошке! — крикнула она. — Потому что это ты все напутал!

— Все напутал, все напутал! — кричали, подбегая, девочки.

— На, на тебе, на! — крикнула Анька, зайдя со спины, и влепила Мяснику еще много пощечин по спине.

— И на! И на! И на! — сквозь слезы закричали две девочки и шлепнули Мясника сбоку. Анька тем временем потянула сзади за штаны.

— Ой, брюки, мои брюки, — сказал Мясник. — Вы сейчас спадете.

И он крепче вцепился в брюки изнутри.

— Это Анька виновата! — вдруг крикнула одна девочка. — На тебе, на! — И она шлепнула Аньку ладошкой по спине.

— Ой, вонючки-противнючки! — крикнула Анька и заплакала. Она плакала и стаскивала с Мясника брюки.

— Не плачь, Анька, — сказал Мясник. — И не дерись, пожалуйста. А вы, девчонки, ее не бейте, и все будет хорошо!

— Хорошо! — закричали девчонки. — Мы ей счас дадим. И еще дадим!

— А я вам, дам! — крикнула Анька, отпустила брюки Мясника и кинулась с ладошками на девочек.

— Ой! Ой—ой—ой! — закричали все они вместе и убежали.

Мясник подтянул брюки и подошел к Кочерыге. Кочерыга играл с Маленьким Кораблем в землю. У него уже было много земли, а у Корабля совсем маленькая краюшка.

— Слушай, Кочерыга, — спросил Мясник, — а почему твоя земля разделена? Разве на ней еще кто-нибудь играет?

— Нет, — сказал Кочерыга, примериваясь острым гвоздем к остаткам земли Корабля. — Это просто разные страны. Хочешь, дам тебе Францию?

— А почему ты не даешь Маленькому? — спросил Мясник. — Смотри, он уже не может стоять.

— Я еще могу, — обиженно сказал Корабль. — На крае ноги. Я еще отберу у него Австралию.

— Не отберешь... — сказал Кочерыга и кинул гвоздь. — Потому что мне сегодня везет.

Гвоздь воткнулся в самой середине краюшки.

— Ну, вот видишь, — сказал Мясник. — Вот и все. Вот и негде стоять.

— Ну да... — сказал Корабль. Он снял туфлю и попытался встать на большом пальце.

— Видишь, не выходит... — сказал Мясник.

— Это потому что мне везет, — сказал Кочерыга. — Ну, хочешь, дам тебе Америку? Смотри, какая большая... Только предупреждаю, я все равно выиграю, потому что мне везет...

— Ну да, везет, — сказал Маленький Корабль. — Давай в фантики!

— Я в стенку его обыграл, в землю его обыграл и в фантики обыграю! — сказал Кочерыга.

— В стенку обыграл? — спросил Мясник.

— Ага. Видишь? — Кочерыга достал из кармана горсть монет и пересыпал в другую руку.

Маленький Корабль отвернулся.

— Ну, бери Италию! — сказал Мяснику Кочерыга. — Твоя очередь первая.

— Нет, — сказал Мясник. — Я почему-то не хочу.

— Почему? — спросил Кочерыга.

— Не знаю, — ответил Мясник. — Я сейчас подумаю и скажу.

— А я знаю, — сказал Корабль. — Это за рисунок и за премию.

Кочерыга молча посмотрел на Мясника.

— Ну, что ты, Маленький, — сказал Мясник. — Я про рисунок и про премию уже давно забыл! Это ты срываешь на мне свою злобность за то, что проиграл. Кочерыга на меня уже давно и не сердится, правда?

— Это ты к нему подлизываешься, чтобы он тебе дал мои деньги, — сказал Маленький Корабль.

— А мне и не надо твои деньги, — сказал Мясник. — Мне Большой даст.

— Ничего он тебе не даст, — сказал Маленький Корабль и плонул на землю. — Мне даст, а тебе не даст...

— Правильно, — сказал Мясник. — Ты же ему брат. А я ему никто.

— Не ругайся с ним, — сказал Кочерыга. — Бери Китай.

— Знаешь, Кочерыга, — сказал Мясник, — я не буду. Ты же все равно меня обыграешь!

— А может быть, ты меня! — великолушно сказал Кочерыга. — Очень даже может быть,

— Может быть, — согласился Мясник. — Потому что Маленькому не везет, а мне, может быть, повезет.

— Бери гвоздь! — сказал Кочерыга.

— А-а, — сказал Мясник. — Я понял, почему я не буду играть. У меня заняты руки. Видишь, спадывают

брюки?

— Хочешь, я дам тебе на пока мой ремень? — предложил Кочерыга.

— На пока? — сказал Мясник. — Нет, спасибо, Кочерыжка, на пока не надо... Потому что потом я тебе отдам и они снова будут спадывать. Мне бы свой ремень найти, вот будет здорово!

— Не найти, — сказал Маленький. — У тебя его украли, сам говорил. И на проверке тебе влетит!

— Да я знаю, что украли, — сказал Мясник. — А вот бы как в сказке! Начинается проверка, а ремень вот он — на брюках.

— Не бывает, как в сказке, — сказал Корабль и плонул на землю. — Будет проверка, и тебе влетит. Катиславна без обеда оставит!

— Это ты так говоришь, потому что тебе не везет... — сказал Мясник.

— Мне повезет! — крикнул Корабль. — Пошли, Кочерыга, в фантики играть. Я тебя обыграю.

— Фигушки, — сказал Кочерыга. — Идем.

«Ох, ремень, ремень, ремень, — думал Мясник, — о тебе надо думать целый день. Ох, ремень, ремень, ремень, сто забот на целый день. Почему сто забот? Одна забота на весь день. Почему на весь день? Если все время думать про ремень, станет грустно на весь день. Все равно его нет. А когда будет проверка, я стану искать в тумбочке. А его там нет! И я спрошу: где ремень? И мне скажет Корабль Маленький: его украли. А я скажу: врешь, он под подушкой. А его там нет! И Кочерыга скажет: хочешь, я дам тебе, пока проверка? И я скажу, нет, Кочерыга, мне не надо, пока проверка. У меня есть наловсем новый ремень, только он куда-то завалился, где-то свернулся в клубочек и лежит. И я полезу под кровать. А с другой стороны просто так, будто нечаянно, под кровать подлезет Большой Корабль. И он скажет: ну, Мясничок-толстячок, а чего у меня для тебя есть? — А чего? — спрошу я. Он скажет: ни за что не догадаешься, чего... А я скажу: три рубля... И он скажет: ну, три рубля... Три рубля я тебе дам со стипендии... И тут в комнату ворвутся... братья Синяковы во главе с Ковалем, с криками «ура». Они закричат: ура, Мясник, ура!..»

— Ура! Ура! — кричали Синяки во главе с Ковалем, несясь прямо на Мясника. Мясник немного отодвинулся, но Коваль тоже изменил направление, а за ним и Синяки.

«Вот несутся Синяки, — подумал Мясник. — Брат Синяк и брат Синяк. Брат Коваль несет...»

«...Кулак», — додумал Мясник, потому что Коваль стукнул его кулаком в плечо. Синяки пригнули Мясника к земле, и Коваль уселся ему на спину.

— Дайте мне встать, Синяки, — попросил Мясник, повернув снизу голову. — А то у меня заняты руки, и я не могу защищаться!

— Защищаться! Ого, ха-ха, защищаться! Верти ему голову, Коваль, сделаем из Мясника мясо! Мясо! Мясо! Ха-ха!

— Больно, Коваль, больно! — сказал Мясник.

— Ура, ему больно! — закричали Синяки, щипля ему спину. — Гайки ему, гайки! На два оборота, на три! Бей Мясника, кто может!

— Слушай, Коваль, меня уже сегодня били! — сказал Мясник. — Слезайте, Синяки, а то я задохнусь.

— Задушим Мясника, задушим! — закричали Синяки. — Да здравствует мясо, ура!

Мясник встал на колени и упал. Синяки свалились. Коваль крикнул:

— За мной! — И все они убежали.

«Придется вынимать руки, — подумал Мясник, лежа на земле. — Синяки больно дерутся. Щипаются. А Коваль на голову сел, а зачем — непонятно. Вот они меня перебили, что-то думал, думал, а они перебили. Побили и перебили. А зачем они меня побили? Просто налетели и побили. А я пойду и спрошу. Все равно забыл, о чём думал».

Лежа на земле, Мясник вытащил руки из брюк, оперся о землю и привстал. Брюки сразу же поехали вниз. Мясник схватил брюки на лету и встал. Шмыгнул носом. Из-за угла послышался голос Коваля.

Мясник побрел за угол, на Малую Солнечную сторону, где всегда играют в запретные игры — в стенку и в чику. На шухере стоял Маленький Корабль. Коваль и Кочерыга сидели на корточках у стены. Братья Синяковы загораживали их и болели за Коваля. Это было сразу понятно.

— Кочерыга продувает, — сказал Маленький. — А хвалился: везет, везет...

— А ты проиграл ему в фантики, — сказал Мясник. — Правда ведь?

— Ну и что... — сказал Маленький. — Это ты наколдовал. У-у, колдун губастый!

— Что ты, — сказал Мясник. — Меня никто так уже не зовет. Я уже давно не колдую. Меня теперь зовут Мясник, а за что — непонятно. Но я все равно правильно сказал: Кочерыге с тобой везет, а вообще не обязательно везет... А потом тебе повезет. Раз на раз не приходится.

— Уй, заткнись ты, — сказал Маленький. — Пришел тоску нагонять.

Коваль, держа большим пальцем свой пятак, тянулся к гриненнику Кочерыги длинным белым пальцем.

— Так можно разорвать руку, — сказал Мясник, присаживаясь на корточки между Синяками.

Коваль, не отпуская руки, презрительно посмотрел на Мясника.

Синяки стукнули Мясника кулаками с обеих сторон.

— Не надо, Синяки, — сказал Мясник. — Я же не желаю ему плохого!

— Достал, достал! — крикнули Синяки.

Кочерыга с каменным лицом нагнулся над монетой, прицелился и щелкнул по ней. Гриненник вылетел из-под пальца Коваля.

— Верно, — разгибаясь, сказал Коваль, — тут можно и руку разорвать. Далеко было...

— Слушай, Коваль, — сказал Мясник. — Я что-то хочу тебя спросить.

— Спрашивай, — разрешил Коваль.

— Вот ты и Синяки сейчас налетели на меня и побили. Скажи мне, почему?

— Почему? — спросил Коваль и посмотрел на Синяков.

— Почему? — спросили Синяки, давясь от смеха.

— Потому что — Пыс! — сказал старший Синяк.

— Потому что — Дрыс! — сказал младший.

— Потому что Мясник! Потому что — мясо, мясо, мя-со! — закричали Синяки и принялись щипать Мясника.

— Подождите, ребята, — сказал Мясник. — Ага... Потому что — мясо. Понимаю...

— А гривенник все же мой! — сказал Коваль. — Берегись, Кочерыга, мне сегодня везет!

«Это потому, — думал Мясник, — что слово «мясо». Вот слово «Синяк» — оно так не звучит. Нельзя бить и кричать: Синяк, Синяк... А мясо — можно... Вот когда меня звали Губастый Колдун, меня никто не бил. И все спрашивали, кому на обед будет горбушка. И я всегда правильно колдовал. А когда меня звали Акула Зубастая, я укусил Тарасюка, прокусил ему ноготь. Я, правда, не хотел, но мне ничего не оставалось делать, потому что он тогда бы меня задушил. Если бы он не был Витьку Казакоцкого, я бы к нему не полез. А то у Витьки никого нет, как у меня, а я ему шеф. Все равно как брат. Только назначенный брат. Вот Синяк почему еще нельзя бить — потому что их два. Станешь одного, сразу второй прибежит. Потому что они братья. Вот я думал что-то сегодня про братьев, думал и никак не могу вспомнить, что-то такое интересное — интересное, приятное...»

— Гони, гони гривенник, не стесняйся... — сказал за спиной Мясника Коваль.

— Я в тот раз дал двадцать копеек! — плаксиво крикнул Кочерыга.

«Прости меня, брат Коваль, но у тебя очень противный голос», — подумал Мясник и пошел.

В дальнем конце Солнечной стороны показалась черная фигура.

«Во, кто-то идет... — подумал Мясник. — Не воспитатель, потому что все играют, будто ничего не случилось... А, Федор Федорович! Во как ноги ставит — раскорякой... А разве можно про взрослых говорить: раскорякой? Нет, это он широко расставляет ноги. Ему так удобнее ходить, потому что легче держать баян. Только он без баяна. Вот кому жить хорошо! Играй себе и играй... А детей вон как обходит, как... столбы. Правда, возятся там, шумят... А он взрослый. Он, наверно, про что-то серьезное думает, про взрослое. А они все мешают. Дети всегда мешают думать... Ой, сюда идет».

Мясник, глядя на баяниста, принялся водить рукавом рубашки под носом.

«Это он ко мне идет, — подумал Мясник. — Поэтому он ни на кого не смотрит. И что-то такое мне несет... То есть зачем я так думаю? Так не надо думать. Откуда он знает, что у меня украли ремень? Конечно, если бы он знал. Ну, он тогда бы сразу: Здравствуй, брат Мясник... А ты знаешь, что у меня в кармане? Знаешь, почему мне неудобно идти? Там, в кармане... полная пачка новых зеленых трешек! — Нет, не трешек. Про это нельзя думать. Надо думать про ремень. Ну, я немножко. И потом сразу перестану... — Да, брат Мясник, конечно, детям вредно давать деньги, но вот Кораблев же дает Маленькому... А тебе всего-то нужно три новых рубля. То есть, вообще не нужно, а чтобы дал тебе брат. Я тебе, правда, не брат, но как будто всехний брат, то есть: брат всех... Это так считается... — Ну, все. Все, больше не буду...»

Баянист подошел уже совсем близко к Мяснику, и Мясник нечаянно шагнул ему навстречу. И еще раз нечаянно шагнул. Он увидел перед носом желтую пряжку с головой коня. Пряжка должна была остановиться, но почему-то не остановилась, а даже ушла в сторону, и Мясник увидел уже спину в черном пиджаке. Баянист медленно уходил к Малой Солнечной стороне. Он остановился на углу и стал смотреть, как играют в стенку. Мясник подошел к завалине и стал смотреть на баяниста. Сочные губы баяниста медленно шевелились. Неподвижный выпуклый глаз смотрел непонятно куда.

«Ему скучно на них смотреть, — подумал Мясник. — Конечно, дотянулся, не дотянулся, отдав гривенник, и все такое. Проиграешь, и ничего у тебя не будет. А выиграешь, и у него ничего не будет. А потом ему еще надо плакать и прятаться, чтобы не смеялись... То ли дело на баяне: «Широка страна моя...» или: «Прекрасную песню слагает народ». Веселей, веселей, ребята! На вас смотрит вся Европа! Или: «Не трава под ветром клонится...» И все слушают и поют... Во, во как ему с нами неинтересно... Скорчился весь, отвернулся... Сел».

— Мартынов, ты что там делаешь? — спросил баянист.

— Я? Я ничего. Я стою, — ответил Мясник.

— А с носом? — спросил баянист.

— А, с носом, — сказал Мясник, опуская руку. — Это я его тру. Он чешется внутри, вот я его и тру...

— Чего это он у тебя чешется, — рассеянно сказал баянист.

— А во, — сказал Мясник. — Я и сам удивляюсь!

— Иди сюда! — позвал баянист. — Сядь. Поговорим...

— О чем? — спросил Мясник, присаживаясь на край завалины.

— Ближе садись. О жизни... — вздохнул баянист.

«О жизни... — подумал Мясник. — По—взрослому...»

— Не обращайте внимания, — сказал Мясник. — У меня потерялся ремень.

— Да, брат... — сказал баянист. — Такие—то дела...

«Во — брат...» — подумал Мясник.

— А какие дела, Федор Федорович?

— Дела, брат, грустные... Тебе—то что, бегай себе, играй... А вот что ты о жизни знаешь?

— Что? — спросил Мясник. — Ничего...

— Вот именно, — сказал баянист. — Ни—че—го... Что ты знаешь о женщинах, например?

— Ой, о женщинах я знаю... — сказал Мясник. — Они бывают сердитые, ни с того ни с сего.

— Сердитые... — сказал баянист. — Ну—ну.

— Да. Я в тот раз спрашиваю Алевтину Ивановну: скажите, правда, что вы старая дева? А она в меня тарелкой кинулась и ничего не сказала...

Баянист закрыл глаза и тихонько хохотнул.

— Это еще лучший случай... с медицинской точки зрения...

— Ну, да, — сказал Мясник. — Это, наверно, потому, что она медсестра. А вообще женщины никогда не знают, чего им надо. То им делай, то не делай...

— Это ты верно говоришь, — вздохнул баянист. — Женщина — первое зло...

— А второе? — спросил Мясник.

— Ну, второе... Все, брат, сплошное зло...

— Ой, правда... — сказал Мясник. — А знаете, почему? Потому что надо быть чьим—нибудь братом. А если ты ничей не брат, ничего у тебя не получится. Вот, например...

— Постой, постой, — сказал баянист. — Как ты говоришь — надо быть братом? Ну, есть у меня брат. Ну и что?

— Ой, тогда все очень хорошо, — сказал Мясник. — Брат всегда выручает. Он у вас взрослый?

— Допустим... — сказал под нос баянист.

— Вот, — сказал Мясник. — Допустим, вы хотите уехать в Бугуруслан. Вы говорили, что хотите. И вот у вас там брат. И он вам пишет: дорогой мой любимый брат, приезжай, пожалуйста, ко мне. Будем жить

вместе, потому что мне без тебя плохо. Плохо жить. Кругом сплошное зло. Все кругом братья и качают надо мной права. А когда мы будем вместе, никто нас не тронет.

— Разумно, — сказал баянист. — Ну, а если мой брат находится в... казенном заведении?

— Ой, — сказал Мясник. — Тогда еще проще. Я ведь тоже в казенном заведении. Только у меня нет брата. А если бы он был, он бы приехал сюда, и все...

— А если я не хочу к нему в... казенное заведение, а? — спросил баянист.

— Ну, тогда вы только считаетесь брат, — сказал Мясник. — Тут уже ничего не поделаешь.

— Ну, а если брат сейчас не может приехать?

— Ой, — сказал Мясник. — Так ведь это только сейчас. А потом он сможет.

— Ты так думаешь? — спросил баянист. — А до тех пор, значит...

— А до тех пор... А до тех пор можно, как я сегодня: будто бы я всехний брат, будто взаправду!

— Ну и как, помогает? — спросил баянист.

— Ой, конечно, — сказал Мясник. — Вы попробуйте!

— А если он и потом не приедет?

— Когда потом? — спросил Мясник. — Завтра?

— Завтра... — вздохнул баянист. — У тебя только и есть, что завтра.

— А у вас нет? — спросил Мясник.

— У меня есть вчера, — задумчиво произнес баянист.

— А брата я уже и ждать перестал.

— Ну, тогда вы только считаетесь брат, — серьезно ответил Мясник. — Если бы у меня был брат, я бы все время его ждал. И вчера бы ждал, и завтра бы ждал, и всегда бы ждал...

— Эх, — вздохнул баянист, — маленький ты еще, вот что...

— Маленький? — переспросил Мясник. — Значит, я потому жду, когда будет завтра?

— Да, да, — сказал баянист, поднимаясь с завалины.

— Не думай так много, это в твоем возрасте вредно. Гуляй.

Он ушел, широко расставляя ноги.

— Гони пятак! — крикнул за углом Коваль.

— Анька дура, хвост надула! — закричали вдалеке две девчонки.

«Во, вспомнил, — подумал Мясник. — Значит, все было так: вбежали Синяки с Ковалем впереди. Они закричали: Дикан, дикан! Мясник, к тебе идет дикан! И дикан медленно шел среди играющих детей, раздавая всем новенькие трешки из кармана. И каждый, кто получал трешку, сразу становился брат. Или сестра. И все принялись обниматься и целоваться носами. И кричать: мы с тобой одной породы, ты и я, ты и я... А потом все сидели на завалине на Солнечной стороне, и солнце грело всем животы, а по небу плыли облака... похожие на зайца... на собаку... на ракушку... и когда облака закрывали солнце, все перебирались на солнечное место...»

Мясник сполз с завалины, придерживая рукой брюки, вытер нос и пошел туда, где облака не закрывали солнце.

1962

ПОСТОРОННИЙ

1

Ходил он медленно, торжественно, выбрасывая руку с палкой далеко вперед. Если на дороге попадались листья подорожника, он прыгал, стараясь каждый раз наступить на листок.

— Видишь вон то дерево? — спрашивал он меня. И прицеливался осиновой палкой в сторону березы, стоящей на краю рощи.

— Вижу, — отвечал я.

— В этом дереве заключена вся мудрость жизни. Это — дерево жизни, понимаешь?

— Понимаю, — серьезно говорил я.

Тогда он размеренно, в лад шагам, говорил:

— Если молодому человеку в твоем возрасте что-нибудь непонятно, он должен откровенно признаться: «не понимаю».

— Не понимаю...

— Вот так...

Положив мне на голову мягкую ладонь, он объяснял:

— Смотри, все мы начинаем жить вот отсюда...

Он наклонял мою голову, и я видел мощные пласти коры, лопнувшие от избытка соков, нагнетаемых корнями.

— Отсюда начинаем мы, и дальше у всех судьба одинакова...

Взгляд его скользил по стволу, туго обтянутому лоснящейся белой кожей.

— ...А вот, видишь ли, начинаются расхождения.

Он показывал головой на первые ветви дерева, как будто бы поддерживающие листву, густую и тяжелую на вид.

— ...Одни из нас идут направо, налево другие, и только свернут в сторону, как уж до конца идти им по этому пути. Ничем не остановишь, ничего не вернешь. Эх, жаль...

Он вздыхал и покачивал головой, пристально всматриваясь в частый переплет тонких веточек, будто видел, как проходят перед ним сразу тысячи человеческих жизней от рождения до самой смерти. Тихонько колебались ветки, осыпанные мелкими острыми листиками, и каждая из них была окончанием жизни одного какого-то человека.

— Чем выше ветка, тем больше, значит, человек сделать успел, тем большего добился... Но выше, выше! Смотри, молодой человек!

Его лицо напрягалось, сходились брови, тверже звучал голос. Он приподнимался на носках, вскидывал палку, — летел вверх, грузный и стройный, неповоротливый и стремительный вместе.

На вершине березы качалась, едва различимая, одинокая веточка.

— Кто это там, на самом верху? Кто не отклонился, не застрял на полдороге? Это — гений! Гений.

Понятно?

— Понятно, — говорил я.

Меня дерево жизни не интересовало, я не понимал, что значит «гений». Для того чтобы разглядеть «гения», нужно было сильно задирать голову.

Он не раз говорил со мной о дереве жизни, всегда почти в одинаковых выражениях. И каждый раз лицо его становилось грустным и даже сердитым. И каждый раз говорил он с горькой убежденностью: «Вот где беда, обида вот где: стремятся к вершине многие, достигает один...»

Он опускал палку и умолкал, видно, думал о чем-то очень важном и старел на глазах, тучнел... Звали его дядя Коля.

2

Я дежурил тогда по даче. Было начало августа, жарко. Под брезентом палаток гудели слепни. У колодца дежурные по кухне чистили котлы, шаркали по днищам проволочными терками. От всего этого становилось еще жарче, словно было вокруг колючее шерстяное одеяло.

Все ушли после обеда на озеро, а я был должен отгонять свиней от палаток и останавливать посторонних, если они появятся.

Но свиньи спрятались от жары в перелеске, а посторонние не появлялись.

Никогда не бывало у нас посторонних. Откуда им было взяться? До совхоза далеко — пять километров, а дачников тоже не было, потому что весной того года кончилась война и людям было не до дач.

Я мечтал о постороннем. Вот он крадется по траве на цыпочках, чтобы я его не заметил. Он, наверное, шпион. Говорят, после войны осталось много шпионов. Они ходят везде и вредят.

Он думает, что я его не вижу. Как бы не так! Я храбро подхожу к нему и говорю: «Кто вы такой? Предъявите документы!»

Он растерялся, молчит. Я замечаю в заднем кармане его брюк револьвер. Шпион хочет вынуть его, но я ставлю подножку, шпион падает, я хватаю револьвер, навожу на него: «Руки вверх!» Он поднимает руки. Лицо у него жалкое, умоляющее. Он говорит: «Мальчик, отпусти меня, я дам тебе много денег: тысячу рублей хочешь?» Но меня не купишь. «Попался, фашист!» — говорю я.

Потом приезжает машина с военными, шпиона связывают и...

По рыжей траве шел ко мне со стороны тракта самый настоящий посторонний. На нем была соломенная шляпа, белая рубашка и белые брюки. Он прихрамывал, опираясь рукой на палку, а в левой держал какой-то блестящий предмет.

Я различил тонкий гриф и плоский корпус, сжатый с боков. Это была гитара черного цвета.

Посторонний приближался, размахивая на ходу гитарой. Ее полированная спина ловила солнце. Я увидел ясно перламутровый узор на верхней деке и перламутровые звездочки ладов. Поверху гриф был перевязан узкой фиолетовой ленточкой.

Незнакомец заслонил головой солнце, и я посмотрел на него.

У него было очень некрасивое лицо. Все мягкое, красное, седые брови, нос круглый, и губы в кружок.

Я спросил как можно более твердым голосом:

— Дяденька, вы зачем сюда?

Посторонний остановился, улыбнулся неуверенно, поставил гитару к ноге, вытянулся вдруг по-военному и сказал басом:

— Доложи своему начальству: «Дядя Коля прибыл с гитарой к вам в гости!»

Хорошо, что он говорил басом. Я сразу перестал трусить и сказал:

— Начальства у нас нет никого. Все на озере.

— Так-таки и нет никого?

— Нет...

— Жалко...

Лицо у него вдруг стало грустным.

— Постойте, может, Анна Семеновна тут? Я сейчас... Я сбежал в директорскую палатку, но там никого не оказалось. Когда я вернулся, дядя Коля стоял как раньше, приставив гитару к ноге. Он смотрел на палатки неуверенно и так же неуверенно посмотрел на меня.

— Ну, что ты узнал?

— К сожалению, нет никого, — сказал я официальным голосом и посмотрел на гитару.

— А ты кто здесь такой? — спросил он.

— Я — воспитанник, а сейчас — дежурный.

— Посидеть у вас можно, дежурный?

— Вообще можно, — сказал я. — Только посторонних нельзя сюда пускать...

Мне очень хотелось послушать, как он играет.

— Так я — посторонний? — Он рассмеялся. — Ну, какой же я посторонний. Я — почти сосед ваш. Не издалека.

— Вы — артист? — спросил я.

— Как тебе сказать... Вроде бы и артист... Хочешь, поиграю?

— Ладно, давайте, — сказал я. — Только не на территории. Я вас на линейку посажу, можно?

Он снисходительно улыбнулся:

— На линейке так на линейке. Тащи стул.

Я принес стул из палатки, дядя Коля сел, закинул ногу за ногу, положил на колено гитару и спросил:

— Ну, что сыграть?

Он провел пальцами по струнам. Первые три струны пропели тихонько: «Ка—пи—таннн...»

— Сыграйте «Капитана»...

Он заиграл послушно. Его пальцы с широкими плоскими ногтями ловко бегали по ладам. Он кончил «Капитана» и без перехода начал новую мелодию. Он наклонял голову над гитарой, хмурил лоб, распускал губы.

Играл он все больше незнакомые песни. Узнал я только песенку про картошку да «барыню».

Понемногу он стал напевать себе под нос что-то хриплым голосом, откашлялся, запел яснее:

Налей же рюмку, Роза,

Мне с мор—роза...

Не меняя положения, он сидел так долго и играл. В незнакомой музыке вдруг проскальзывали смутно знакомые, неуловимо близкие отрывки. Может быть, я этого никогда не слышал, но музыка его была так непохожа на тяжеловесные праздничные канканы, которые трудно петь...

Я стоял рядом, глядел на замысловатый узор из перламутровых ромбиков и цветочков, пущенный по краю гитары. Незаметно один цветочек, круглый, с короткими лепестками, стал расти, бледнеть. В круглом окошке проглянуло синее небо, зашевелились кусты. Стоял на траве желтый патефон, вертелась пластинка... Далекий голос пел из патефонных глубин. Мелькнуло в окошке знакомое лицо... Шелковое

платье зацепилось за ветку, зашуршало... Еще одно лицо выплыло из тумана, молодой военный в гимнастерке с кубиками в петлицах, белые зубы, смеется глазами. Сейчас он поднимет меня сильными руками высоко—высоко! Я ощущил руками прикосновение теплых ладоней и вздрогнул.

Все исчезло. Я не успел понять даже, что это было. Остался перламутровый цветок на стебельке, дядя Коля...

Подул меж палатками теплый ветер. Я ощущил спиной, что солнце опускается. Дядя Коля перестал играть, прижал струны ладонью, посмотрел задумчиво мимо меня. А мне сильно захотелось, чтобы он все играл, играл. Я хотел снова увидеть то, что ускользнуло от меня, оставило воспоминание о чем-то лучшем, чем все на свете.

Дядя Коля резко щипнул струны. Раздался громкий гусельный звон. Аккорд отзвучал и распался на отдельные звуки, долго блуждавшие в глубине гитары. Он подождал, пока звуки затихнут, и снова ударил по струнам.

Получилось еще гуще, еще значительней. Мурашки побежали по коже. Я замер.

Он запел с третьим аккордом, неожиданно чисто и красиво, поднял глаза вверх.

Как за речкою, да за Дарьёю...

Там татарове дуван дуванили...

Бледное эхо помогало ему, откликалось нежно:

...е—э—ечкою—у—у...

...та—арьёю—у—у...

Этот голос, слабый, далекий... Откуда он?

Лампа под зеленым абажуром на столе. Веревочная сетка кровати делит комнату на квадраты. Спать... Спать... Волосы щекочут лоб. Легкая ладонь прикасается к затылку... Спать...

...На дуваньице доставала—ася...

— ...Спи, Валька, спи...

...Ее ладонь пахнет земляникой... мылом... ее тень на потолке... лохматая... Легкие волосы щекочут лицо... Мама.

От всего этого я заплакал.

Глухо стукнулась о траву гитара.

— Ты плачешь?

— Нет, — сказал я.

Он притянул меня к себе и поставил между коленями.

— Пустите, — сказал я и попытался вырваться.

Замелькали в просветах между палатками ребячье лица. Наши возвращались с озера, тащили с собой длинные стебли кувшинок, и кричали что-то радостно—непонятное, и смеялись неизвестно чему. Сильно запахло свежестью, озерной водой.

Я вырвался, убежал на поляну, подальше, и упал в траву.

Садилось солнце, со стороны дачи слышались звуки гитары, смех. Нестройный хор запел:

Эх, картошка, объеденье—денье—денье—денье...

Я лежал в траве и плакал горько. И не знал, о чем.

3

— Где ты был? — спросил меня Мишка Васильев за ужином.

Это был мой верный друг. Я сказал ему, что гулял.

— А у нас был артист, — сообщил Мишка. — Настоящий, с гитарой. Веселый такой...

— Что ты ко мне пристал со своим артистом? — зло сказал я.

Мишка ничего не понял и обиделся на меня. Наутро меня вызвала Анна Семеновна.

— Откуда ты знаешь того пожилого мужчину, что приходил вчера с гитарой?

— Я его пустил поиграть...

— Я же говорила тебе, чтобы ты не пускал посторонних.

— Но ведь он — артист, он не посторонний, — сказал я.

— Не пускай больше никого, — сказала Анна Семеновна.

— Ладно, — сказал я.

— А этот... артист приглашал тебя в гости. Ты хочешь его видеть?

— Конечно, — сказал я.

— Он зайдет за тобой в воскресенье.

В той неделе было, наверное, сто дней. Я ждал дядю Колю и не удивлялся тому, что он хочет меня видеть. Он придет ко мне... Интересно, где он живет?.. У него красивый дом из гладких досок с террасой и флюгером на крыше. Флюгер в виде петушки.

В саду у него растут розы, желтые, а середина мягкая—мягкая, как пена. Вокруг сада — бор. Сосны там большие, смыкаются верхушками над домом. Между ветками светит солнце. Лучи его, как прожекторы, освещают веранду с цветными стеклами — синими, желтыми, фиолетовыми...

Он — артист, значит, богатый. У него на столе лежат пять, нет — десять коробок шоколадных конфет. Он скажет: «Ешь, Мартынов, угощайся на здоровье». И домой разрешит взять. Я Мишке принесу полную коробку. Он спросит: «Откуда у тебя это?» А я не скажу. Пусть он не знает. И Шурке Озерову дадим, если он поклянется, что никому не разболтает. А больше никому. Мне не жалко, только все спрашивать будут, что да откуда. Завидовать будут.

...Нет, не так. Он приедет за мной на машине. У него такая машина, что нажмешь кнопку — по воде плывет, нажмешь другую — и по воздуху может. А скорость — двести километров в час! Внутри у машины на всех рычажках написано, куда их дергать. «Хочешь, Мартынов, вести машину? — спросит он. — Давай, брат». И помчимся... Он и тогда небось на машине приехал, только оставил ее на тракте.

...А когда приедем, он сядет на диван и спросит: «Ну, Мартынов, что тебе сыграть?» Я попрошу: «Как за речкою»...

Он пришел пешком, одетый в простые черные брюки и бордовую рубашку в полоску. Главное: он пришел без гитары. Когда я увидел его, то не узнал. Подумал, что меня разыгryвают.

Он поднял с травы узелок на палке, и я понял, что он не артист. Артисты не ходят с узелками.

Он посмотрел на меня внимательно и увидел, о чем я думаю. Он досадливо потер лоб и сказал:

— Вот оно что...

И сделал смешное лицо.

Я улыбнулся.

Мы пересекли тракт и вошли в заросли тальника у канавы. Потом поднялись на холм. Там ходили поверху темные пласти сосновых вершин, а стволы поднимались прямо из ровного слоя сухой хвои.

Мы сели на землю среди кустиков костяники с аккуратными тройными бусинками ягод.

Он спросил:

— Есть не хочешь?

— Нет, — сказал я.

— А почему ты грустный?

— Вы не артист, дядя Коля?

Он улыбнулся.

— Как тебе сказать... С одной стороны, вроде бы и артист...

— А с другой?

— С другой, не так интересно, но тоже ничего... Я в совхозе работаю. Ну-ка, принимайся за конфеты.

Он развернул платок и расстелил его на земле. Там оказалась селедка в промасленной бумаге, краюха черного деревенского хлеба, два огурца и бумажка с солью. Конфеты он достал из кармана брюк. Это был фруктово-ягодный букет. Нам иногда давали такие вместо сахара.

— Валька, — сказал он, — рыбу удить любишь?

— Да, — сказал я.

— А что еще любишь?

— Еще зверей люблю всяких...

— Лошадей?

— И лошадей...

— А лисиц любишь?

— Лисиц люблю. Рыжих.

— У нас черно-бурые в совхозе. Видал когда-нибудь?

— Нет.

— Ну, увидишь. Морковка у хозяйки в огороде есть, горох... Да, лодка у меня еще на озере есть...

— Моторка?

— Нет, обыкновенная...

Так мы поговорили, а потом дядя Коля свернул узелок, мы выбрались из леса и пошли по тракту к совхозу.

4

Все было совсем не так, как я себе представлял, и я не знал еще, хорошо ли так, как на самом деле, или плохо.

Дом дяди Коли стоял среди парников, на отлете. Был это маленький пятистенник. Вокруг блестели парниковые рамы, на стояках плетня сушились стеклянные банки. Наличники на окнах были черные, обломанные. В сенях пахло обедом.

Дядя Коля взял меня за плечо, подтолкнул в горницу. Там, в бревенчатых стенах, было не по-деревенски, не по-семейному убрано. У окна стоял стол с чернильницей, со счетами и ворохом бумаг. Это было похоже на правление. У другой стены — узкий топчан, гладко обтянутый серым одеялом. На нем торчала углами в стороны большая подушка. Это напоминало детский дом.

В дальнем углу, за печкой, висели на стене фотокарточки в одинаковых черных рамках с латунным узором.

— Посиди-ка тут, — сказал дядя Коля. — Я насчет обеда...

— Я не хочу обедать, — сказал я. — Честное слово.

— Ничего, ничего. — сказал он. — Пообедаешь со мной. И вышел.

Я поискал гитару глазами. Присел на корточки. Ее не было видно. Тогда я подошел к фотокарточкам и стал их разглядывать.

Все снимки были старые, довоенные, в пятнах, выцветшие. На первом неопределенно, как сквозь воду, проступали фигуры мужчины в темном и женщины, должно быть, молодой, потому что у нее была толстая коса до земли. Они сидели, наклонившись друг к другу. Между ними, чуть впереди, сидел малыш с веткой в крупных листьях в руках. За людьми бесформенным пятном проступали кусты, а перед ними стоял открытый патефон.

Стоя перед снимком, я пытался припомнить что-то похожее, что я видел совсем недавно. Или очень давно?

Было тихо в комнате, только за дверью кто-то возился, да за окном козы цокали по дорожке копытцами размеренно и четко, как часы.

Так я и не вспомнил, где видел похожий снимок, и стал смотреть второй. Здесь стоял на лужайке мальчик моих лет, держа в руках модель самолета. Был он в майке, черен, худ. На голой шее трепыхался галстук. Интересно бы узнать, какой у его модели моторчик...

А на третьем снимке сидела крохотная девочка, чересчур хорошенская на мой взгляд. Прямо-таки пупс. Она откровенно позировала, сидя на вращающемся стуле перед пианино. Две косички, короткие, негнущиеся, торчали в разные стороны над ушами. Ленточка в одной косе развязалась и смешно свешивалась со щеки. Вот, наверное, было рева, когда она увидела себя с развязанной косичкой. Девчонки всегда плачут из-за таких пустяков.

Кто-то заворочался в сенях. Я отскочил от стены с фотокарточками. Нельзя подсматривать чужую жизнь. И я это знал к тому времени.

Я оглянулся. Дядя Коля сидел на топчане и смотрел на меня с ласковой усмешкой.

Он поднялся медленно, подошел ко мне, повернул меня лицом к окну и провел ладонью по моей голове.

— Давай-ка обедать.

Мы вышли во двор, сняли с плиты летней печки чугунок и сковороду. Когда мы ставили еду на стол в горнице, я заметил среди бумаг нотную тетрадь в картонной самодельной обложке. На ней было выведено детским почерком: «Багатели».

— Что такое — «багатели»?

— Ноты, музыка, — объяснил дядя Коля и убрал тетрадь со стола. — Ешь, — сказал он. — Вот щи, вот ложка. Ешь.

— А где ваша гитара?

— Под топчаном...

— А откуда она у вас?

— Это — трофеей.

— Ну да, трофеей, — не поверил я. — Трофей — это оружие.

— Гитара — тоже оружие, — сказал он.

— Ну да, оружие...

— Оружие, Валька, оружие. Бери хлеб. Вот соль, если мало.

— Дядя Коля, а кем вы были на войне?

— Как все. Солдатом я был. А ты ешь, Валька, потом поговорим.

Мы пообедали и вышли из дома. Сразу же за оградой встретилась нам немолодая женщина с коромыслом. У нее было добродушное лицо в платке, хотя и было на улице жарко. Должно быть, у нее болели зубы.

Она посторонилась, давая нам пройти по дорожке, и посмотрела на меня напряженным долгим взглядом, как смотрят матери на парней, с которыми гуляют их дочки. Когда мы прошли, она спросила дядю Колю вполголоса:

— Этот?

Дядя Коля что-то ответил неразборчиво и смущенно. А у меня вдруг дрогнуло сердце. Я не понял тогда, отчего это случилось, не понял и потом, когда мы уехали. Я понял, когда вырос и стал большим. Я просто боялся тогда подумать об этом.

Мы долго ходили с ним по совхозу. Видели толстых лошадей, которых я хотел погладить, но мне не разрешили. Видели и лисиц. Они бегали вдоль вольера и тявкали противными голосами.

Нас часто останавливали встречные люди, говорили с дядей Колей о делах, и тогда он обнимал меня одной рукой и поглаживал по плечу, чтобы я знал, что он помнит обо мне.

Он очень веселился, показывая мне совхозную живность.

Он говорил:

— А вот наши лошадки.

— А вот наши гуси-лебеди.

И смеялся громким басом. И все, кто нас видел, тоже веселились и говорили: «Так-так, Николай Степанович, покажи мальцу наше хозяйство. Может, он у нас останется?»

Только мне почему-то было невесело.

Дядя Коля видел это и хмурился, когда отворачивался от меня.

Возвратились мы поздно, когда начало темнеть. Дядя Коля сходил на огород и принес все, что обещал утром: морковку, репу, горох. Он зажег лампочку с темным стеклом и стал увязывать гостинцы в платок. Я увидел над окном большой портрет в золоченой раме.

Спутанные волосы поднимались над плоским лицом с коротким упрямым носом и тонкой черточкой губ. Прямая складка пересекала низкий лоб. Глаза горели злым огнем, зоркие; колючие. Руки скрещены на груди, пальцев не видно, но казалось, что пальцы напряжены и сжимают руки изо всех сил. Старинный кружевной воротник падал складками на камзол.

— Это вам дедушка? — спросил я.

— Да, вроде дедушка, — ответил он и улыбнулся лукаво. — Знаешь, Валька, давай, сделаем мы с тобой тайну, идет?

Я конечно же согласился. Хорошо, что он придумал тайну. Была она проста, как все мальчишечные тайны: надо было тайком удирать с дачи и ждать дядю Колю на дороге.

Мы попрощались. Я ждал, что он проводит меня, но он сказал, что ему тяжело ходить.

В самом деле. Ведь он хромал.

5

Тракт, ровный у дачи, круто опускался у поворота, где рос большой тополь и стоял дорожный знак. После шести вечера, обходя стороной палатки, я пробирался на тракт, прятался в кустах и ждал.

Дядя Коля приходил каждый вечер. Сначала показывался на оранжевой пыли край его тени, затем появлялась голова, плечи. Взлетала над дорогой палка.

Я высакивал из кустов, несся вприпрыжку навстречу, подбегал, раскинув руки, и прижимался головой к его мягкому животу.

Он обнимал меня, приговаривая:

— Вот и я, Валька, вот и я...

Ему нравилось, что я так его встречаю, а я хотел ему нравиться, очень хотел.

Мы гуляли по тракту, далеко уходя в сторону совхоза или озера. Сворачивали на лесные тропки, входили под дрожащие листья осин.

Иногда он садился на корточки возле муравейников, смотрел подолгу на суетливую муравьиную жизнь, причмокивал губами, качал головой. Он ловил муравьев, сажал его себе на ладонь и следил, как тот мечется, растерянный, по складкам кожи, а потом стряхивал его в кучу и морщился почему-то.

Он расспрашивал меня про детдомское житье-бытье, просил, чтобы я пел песни, которым нас учили. Сердился, когда я пел, говорил:

— Не то вы поете, да и не так надо петь.

Житье у нас было хорошее, сытое, и я рассказывал ему про Мишку Васильева, про Анну Семеновну и про книжки, торопясь и глотая слова.

Становилось уже прохладно по вечерам. Под рубашку залетали лесные сквознячки. Я поеживался. Тогда дядя Коля опускал свою ладонь мне на стриженый затылок. Я ощущал затылком тепло его ладони и сразу согревался.

Мы выходили на поляны, полосатые от теней, садились на траву. Он расстипал платок, резал хлеб, вытаскивал из кармана сиреневую луковицу и холодный кусок мяса, завернутый в бумагу. Поужинав, мы ложились на траву и молчали. Иногда дядя Коля пел.

6

Он никогда не рассказывал о себе, о том, откуда он. Я же, по неписанным правилам, известным у нас всем, не лез в чужую душу.

Иногда мне хотелось рассказать ему о себе, но он меня не спрашивал, и это казалось мне более странным.

Все женщины, встречая нас, спрашивали, где мать, где отец. Мы отвечали однозначно: «Отца убили, мать с голоду умерла...»

— С голоду... — изумленно говорили они и старались пожалеть нас, приласкать, накормить.

От этого хотелось немножко плакать, но все же становилось приятно на душе, хорошо-хорошо. Однажды я не выдержал и спросил его:

— Дядя Коля, вы здешний?

— Здешний, — ответил он. — Как говорится, тутойский. А что?

— А я думал, что вы городской...

— Почему же ты так думал?

Я не мог объяснить ему толком, но сказал что-то про снимок девочки у пианино и про снимок с патефоном. Он посмотрел на меня слишком удивленно и сказал:

— А разве здесь не бывает патефонов?

Тогда я попытался рассказать ему о себе. В один из вечеров я достал из наволочки фотокарточку мамы.

...Солнце спустилось уже низко. Было сухо, давно не шли дожди. От маленьких камешков на тротуаре протянулись колючие тени. Я держал в ладони маленький снимок и боялся помять его. Я хотел начать издалека, но вместо этого сказал:

— А я, дядя Коля, в Ленинграде родился.

— Я знаю, — откликнулся он быстро и как будто равнодушно. Он остановился в этот момент и стал внимательно смотреть в яму на краю тротуара. Затем он перелез через канаву и спустился в яму. Я пошел следом.

Яма была узкая и глубокая. Вокруг нее лежала плотная сухая глина. Стены были гладкие, отполированные лопатой. Ближе к поверхности глина уже высохла, внизу была темнее.

— Дай-ка палочку какую-нибудь! — попросил дядя Коля.

Я подал прутик, спросил:

— Что вы там нашли?

Он подвинулся на дне и показал мне какие-то темные нашлепки, похожие на сморчки, прилипшие к стене невысоко от дна.

— Что это? — спросил я.

— Лягушки, — проговорил он спокойно.

Он выбросил на поверхность бесформенный комок. Комок слабо зашевелился, отвалились крошки глины.

Лягушка медленно шевелила прозрачными тонкими лапками, сквозь кожу просвечивал скелет. Она пыталась прыгнуть, но не смогла, только перевернулась на спину. Она судорожно глотала воздух. Ее шея, морщинистая, как у древней старухи, тяжело расширялась и опадала. Жизота у нее совсем не было. Он прилип к спине.

Лягушка еще раз шевельнулась, пытаясь перевернуться, дернулась и застыла. Ее круглые глаза, не выражавшие ровным счетом ничего, стали матовыми.

Я впервые видел смерть. Мне было страшно и любопытно. Я стоял в оцепенении, а дядя Коля все выбрасывал наружу лягушек, одну за другой, одну за другой.

Одни из них, упав на землю, цепенели на месте. Они не сопротивлялись смерти.

А другие хотели жить! Они опасливо и беспомощно смотрели на меня черными глазами, цеплялись крохотными пальцами за травинки. А может, не смотрели. Или смотрели, но не так.

Дядя Коля выбрался из ямы довольный, отряхнул глину с колен.

— Отчего они такие? — спросил я.

— От голода, — сказал дядя Коля. — Пить тоже нечего было. Попрыгали сдуру в яму, а выбраться не могут...

Он заметил, что я дрожу, обнял меня и добавил:

— Да ты не жалей их очень-то. Лягушки... Что им? Холодная кровь...

Я оглянулся назад, увидел сморщеные комочки, застывшие в движении острые лапки и крепче прижался к боку дяди Коли.

Когда мы отошли далеко от этого страшного места, я спросил:

— Дядя Коля, а люди, когда от голода умирают, тоже такие?

— О-о-о... — сказал он, прижимая меня к себе свободной рукой. — Ты посмотри-ка на этот прекрасный тополь. Настоящее дерево жизни. Лучше не выдумаешь.

Ничего в нем, конечно, не было прекрасного. Тополь как тополь.

7

Я зашил в наволочку фотокарточку мамы. Ничего нового не узнал я о дяде Коле ни в тот вечер, ни после. Да и он обо мне не узнал. Он не пришел на следующий день. Я прождал его до самого ужина. Не пришел он и на другой день. На третий день мы пололи морковь на совхозном поле, молочай колол руки, было очень жарко, хотелось пить. Я думал, что увижу его здесь. Но он не появился.

Наступило воскресенье, и я торчал с утра перед палатками, вглядываясь в оранжевую пыль над трактом. За мной по пятам все эти дни ходил Мишка, он ревновал меня к моей тайне и грозил, что перестанет со мной дружить. А мне было все равно. Только бы отстал.

Мишка подразнил меня немного, потом ему надоело и он ушел. Пришла Анна Семеновна и дотронулась холодными пальцами до моего плеча.

— Кого ты все ждешь?

— Никого, — сказал я.

— Пойди поиграй. Он уехал. Он не придет...

— Кто — он?

— Этот... артист, дядя Коля его зовут, да? Он привет тебе просил передать.

— Привет... Дядя Коля больше не придет?

Зачем она так сказала?

Ночью того дня мне приснился сон, который я помню до сих пор. Будто я иду по улице в городе. Улица незнакомая, дома все одинаковые, пустые, без крыш, а окна все без стекол и без рам. Много окон чернеет кругом.

Почему-то я знаю, что один из домов — наш и окно на втором этаже — наше окно. Поднимаюсь по лестнице, вхожу в комнату. Стены тускло отсвечивают желтым. Я трогаю стену. Она из глины. В углу шевелится что-то. Огромная лягушка с толстыми выпирающими ребрами ползет на меня и смотрит бездонными черными глазами.

Я кричу беззвучно, а лягушка вздрагивает. Трескается ее кожа. Она протягивает лапу ко мне.

Скелет из белых костей лежит на полу вместо лягушки. Белые кости скреплены проволокой. Скелет из школы.

— Она умерла от голода, — говорит дядя Коля за моей спиной.

— Кто — она? — кричу я. — Это он, скелет!

— Нет, это она, — говорит дядя Коля. И тогда я догадываюсь.

— Мама! — кричу я изо всех сил.

— Да нет, это не мама, — говорит дядя Коля и смеется. — Это лягушка. Не бойся, кровь у нее холодная...

Холодная, холодная комната... Холодно.

С тех пор я гулял часто один. Это у нас разрешалось. Было мне грустно-грустно. Так грустно, как никогда потом. И хорошо было грустно. Светло. Я чувствовал, что потерял что-то, без чего можно обойтись.

Утром, в день пасмурный и не воскресный, я услышал, как кто-то поет низким голосом грустную

песню:

...Бежал бродяга с Са-ха-ли-ина

Звериной узкою тропой...

Отдаленный голос будто обижался на кого-то, звал долго и безнадежно и закончил разочарованно, низкой отрывистой нотой:

...Никогда...

Взлетела над поворотом палка, описала дугу, скрылась...

Это был дядя Коля. Анна Семеновна обманула, и все хорошо. Я решил напугать его. Спрятаться между ветками и выскочить, когда он пройдет. Закрою ему глаза ладошками.

— Отгадайте, кто? — скажу.

— Не могу, — ответит он. — Постой, да это, наверное, Валька? Ну, здравствуй, молодой человек...

Он держал в руке бамбуковую удочку. Значит, рыбку половим.

Он подошел уже совсем близко. Я слышал, как он сопел. У кустов он чуть не упал. Я отпрянул и успел заметить его красное, напряженное и почему-то сердитое лицо.

Я присел за кустом и услышал глухой шлепок. Будто вальком ударили по мокрому белью.

...Он пытался встать, царапая палкой дорожную пыль. Приподнялся. Упал на локти, опустил голову и долго смотрел на дорогу глубокомысленно и удивленно.

Удочка валялась рядом. Красно-желтый поплавок воткнулся пером в пыль.

— Что с вами, дядя Коля?

— Ну, чего пристал...

Он подтянул правую ногу, сел. Вздернулась штанина, обнажив гладкую розовую ногу, наверное, целлулоидную.

— Валерка, иди сюда, Валерка...

— Я — не Валерка, — сказал я. — Я — Валька. Что с вами?

— Иди сюда, Валерка, — настойчиво повторил он. — Сейчас... на рыбалку поедем...

— Я не Валерка, дядя Коля, я — Валька. Ой, что с вами?

— Н-н-нет, ты Валерка, Валерка... Сейчас поедем... в Териоки... на дачу. Мать пирожков напекла... с маком... Валерка...

— Я — Валька, Валька, дядя Коля, Валька из детдома!

— Валька?

Он недоверчиво посмотрел на меня.

— Ага, Валька... Ну, вот, слушай... Уходи отсюда скорей. Уходи, слышишь?

Я пытался его поднять. Он впивался пальцами в мою руку, сипел, хрипел и гнал меня прочь. От него сильно пахло перегаром.

Глаза у него были как у Мишки, когда он болел воспалением легких и лежал в жару, тихий и страшный. Он смотрел на меня с такой надеждой, с такой большой просьбой! Он так хотел, чтобы я ушел.

— Уходи, Валька, уходи... Слышишь? Я приказываю...

Как на войне! Ну, да: дядя Коля — командир. Он приказывает, чтобы я его оставил. Он ранен, а мне нужно выполнять задание. И вот он приказывает...

Задание... Но ведь задания никакого и нет!.. Он все смотрел на меня, смотрел, и я невольно стал пятиться.

Он сидел в пыли и повторял:

— Иди, иди, не смотри на меня... не смотри...

Когда я отошел немного, он тяжело поднялся, покачнулся и пошел быстро—быстро по дороге к совхозу. Я бы не оставил его одного на дороге, но он меня прогнал.

Потом я бегал на то место, но его уже не было. Удочка, правда, валялась, но я не взял.

8

В последние дни лета шли дожди. Ямы у тракта наполнились желтой водой. Там, пуская пузыри, резвились лягушки. Однажды утром пришли машины, и мы стали собираться в город.

Грузовики с тентами стояли на поляне, придавив блеклую траву свежими рубчатыми шинами. Запах бензина был приятен, как всегда в дни отъезда.

Синий дымок опускался, колеблясь, на серые квадраты палаточных дощатых полов. Шоферы и ребята из старшей группы грузили вещи.

Когда мы уже садились в машины, пришел дядя Коля в шинели без погон, с гитарой. Я увидел его, когда он шел по тракту. Я спрятался за ребятами.

Он подошел к машинам и стал играть. Нельзя было разобрать, что он играет, потому что гудели моторы. Неожиданно, нестройно впереди запели что-то.

Он, конечно, пришел не ко мне... Я забрался в машину и сидел, выглядывая из-под тента. Вдруг меня позвали:

— Мартынов, Мартынов, иди сюда!

Я вылез. Дядя Коля подошел ко мне.

— Ну вот, — сказал он. — Уезжаешь, значит?

— Уезжаю...

— Расстаемся, значит?

— Расстаемся...

— Так на рыбалку мы с тобой и не сходили...

— Так и не сходили...

— Ну, ты меня, пожалуйста, прости. Виноват я перед тобой.

— Нет, — сказал я. — Нет, дядя Коля, вы не виноваты... Не надо мне было к вам ходить. И вообще ничего не надо.

— Вот ты какой... — сказал он чуть удивленно и грустно.

— Да, такой, — ответил я. — Ну, прощайте, дядя Коля. Будьте здоровы. До свидания.

Я отвернулся от него и полез в машину. Неприятно прощаться, когда на тебя смотрят.

— Постой...

Он удержал меня и сунул в руку коробку шоколадных конфет.

— Не надо, — сказал я. — Дядя Коля, честное слово, не надо...

— Бери ты, — сказал он нетерпеливо. — Говорят, вкусно...

— Дядя Коля, — сказал я. — Дядя Коля, я думал, что вы — артист...

Тогда он схватил меня обеими руками и оттащил к борту машины.

— Слушай, Валька, — сказал он. — Ты, я вижу, мужчина. А я думал, что ты — маленький совсем. Послушай меня напоследок. Помни о дереве жизни. Это правда. Иди прямо, не сворачивай. Прямо, прямо всегда. Эх, что я тебе говорю... Мал еще... На вот...

Он вынул из кармана гимнастерки зажим от пионерского галстука, ржавый, с облупившейся эмалью.

— А сейчас галстуки без зажима носят, — сказал я. — Их узлом завязывают...

— Все равно, — сказал он, — бери. На память. Машина дернулась. Дядя Коля подсадил меня на борт.

Когда мы выехали на тракт, он стоял на обочине и махал палкой нам вслед. И хотя мне было непонятно, зачем этот зажим, и куда нужно идти, и почему прямо, я тоже, вместе со всеми, смеялся и махал ему.

Я снова был среди наших, где совсем не все было здорово, но зато все были свои, не посторонние, понятные и простые.

Грустно было махать ему из машины.

1958

ДОМ СТОЯЛ НА ОКРАИНЕ

На месте, где стоял этот дом, Филимонов увидел пятиэтажное здание, составленное из бетонных плит. Два тополя с южной стороны уцелели, остальные были спилены на высоте человеческого роста и обернуты рогожей, словно их собирались похоронить, но забыли в суматохе. Было странно: дом исчез без войны, без пожара, а исчез бесследно. Филимонов прожил в нем не более полугода, в самой узкой и темной комнатке бельэтажа, и сам не мог понять, отчего этот дом запомнился ему как единственный родной, оставив в сердце недоумение и скрытую боль, как все родное, что мы покидаем навсегда.

Дом и тогда уже стоял среди новых, уже грохотали поезда на новой ветке, уже видно было улицу, постепенно образуемую строящимися домами, но сам он стоял особняком, да и по архитектуре это был особняк с бельэтажем и полуподвалом. Со всех сторон его окружали тополя. У дома была история, он кому-то принадлежал, а потом был подарен, точнее — пожертвован инвалидам войны. На фронтоне желтели следы лепной надписи: «Домувечных воинов», и школьники, недавно научившиеся читать, замедляли перед домом шаг, беззвучно шевелили губами. Но им было непонятно, что значит эта надпись, и они убегали, — Филимонову казалось — покидали непонятное, чтобы позабыть. Дом был хороший, каменный, удобный, он был красивый — с портиком и широким парадным крыльцом, но и тогда уже он терялся, отодвигался, забывался. Подступы к нему уродовали траншеи, бетонные кольца канализационных труб теснили его, освобождая проезд самосвалам, белая пыль вздымалась завесой, и от этого лучше виделось, как было здесь прежде солнечно, как было зелено и тихо.

Позже история ушла внутрь дома, и Филимонов, поселившись здесь, увидел ее продолжение. Лепные потолки в просторных когда-то комнатах бельэтажа оказались разрезанными — комнаты поделили по жактовским нормам, и в центре дома образовался корявый, с отростками, коммунальный коридор. За дверями, за чуланчиками-прихожими обитали жильцы. Филимонов тогда был молод, и взгляд его не был стеснен ни предубеждением, ни заботами сердца. Он смотрел, как люди справляются с бедой, не зная еще, не чувствуя предназначенному ему места.

Пожилой художник-оформитель, возвратившийся из далеких краев, жил шумно, торопливо и жадно. Он набрасывался на работу, на еду, на гостей, втискивался в такси, втягивал в дверцу жену, укатывал в гости, в театр, возвращался, размахивая палкой, закидывая маленькую голову в берете. Вечерами по коридору разносилось ироническое жужжение голосов. Художник был поклонник абстрактного искусства, разумеется, тайный, он увещивал стены пятнистыми и полосатыми холстами, в прихожей гостей встречал многозначительный черный квадрат на белом фоне. Сам он рисовал конверты для пластинок в русском стиле, с петушками, с матрешками и лошадками. Глиняные вятские фигурки выходили из-под его руки плоскими, жирно обведенными черным и еще более яркими. Это был, кажется, интеллектуальный стиль, пользующийся спросом где-то далеко-далеко.

Окна его комнат празднично светились допоздна, и Филимонов, глядя на них, каждый раз испытывал одинаковое чувство: будто часть дома отделилась, обособилась, хочет отвалиться и зажить сама по себе. Все гости художника были его единомышленниками, друзьями. Приветливый бас хозяина встречал их на пороге, а провожал певучий голос жены. Только однажды Филимонов видел, как из прихожей вышли молча, не провожаемые, два молодых человека, похожие на клоунов — длинный и короткий. Короткий с палочкой, длинный — с бородой, оба грустные и смешные. Они что-то выкинули, будучи в гостях, показали свою независимость или яркую индивидуальность, выкинули нарочно — сыграли себя — и, выходя, продолжали играть, но не так уже уверенно, не так нагло. Филимонов подумал, что в этой части дома не должны нравиться заносчивые фокусники — здесь натерпелись горя, но теперь здесь был праздник, и Филимонов понимал, что эта нелепая пара пришла на праздник в предчувствии своего горя, разыграла

перед хозяевами свои предчувствия и просто напугала их.

Художник довольно быстро утолил свой голод по искусству, по умным людям и вдруг набросился на предметы. К дому подвозили мебель, художник подпрыгивал около грузчиков, срываю голос, ругался, обнаружив царапины на лаке, треснувшую ножку тахты. Покупки делались сюрпризом для жены, она должна была радоваться удачному выбору, и действительно радовалась, хлопотала, смеялась, затиснутая в комбинезон с брючками. Оба стали одеваться наряднее и чаще уходить вечером, а гости теперь бывали у них реже.

Как это всегда бывает, когда человек увлечется предметами, художнику потребовались другие зрители, и они появились. Снаружи на вещи сумрачно взглядала дворничиха, завидуя, оценивая и восхищаясь. Худенькая, немолодая, она жила обидой, и на самом деле была обижена тем, что живет без мужа, что занимает полуподвал, что ей одной нужно кормить двоих детей, что никогда ей не видать чистой работы. Филимонов удивлялся ее способности так остро чувствовать свою обделенность, так неутомимо жить обидой. Хоть бы раз она улыбнулась! И он видел, что дворничиха искусно поддерживает обиженность: она обращалась с природой с превосходством двуногого существа, способного все убрать, во всем навести порядок, подобрать каждый листок, опавший с тополя, срезать каждую сухую ветку. Зимой она скальвала лед с крыльца, обижалась на крыльце и на лед, весной жгла мусор и сухие листья, неумолимо орудуя длинной кочергой. Ее лопаты, совки, метлы, новые и чистые, строго блюли чистоту, двигаясь в суетном ритме досады. И вот дворничиха молча, натянуто приветствовала новую мебель художника, орудуя метлой у крыльца как раз в те минуты, когда сгружали гардероб или книжный шкаф. Эти незначительные, словно вынужденные знаки признания удовлетворяли владельца, а в доме он нашел настоящего ценителя в лице соседки, маленькой одинокой женщины, заметно страдавшей до сих пор оттого, что ей не с кем в доме поговорить.

Но теперь–то она отвела душу! Она входила в уютные комнаты художника, испуская восторженный крик, похожий на вздох. Она оказалась сведущей решительно во всем, что касается мебели и платья. Каждую обновку она подвергала подробному разбору, высказывала множество замечаний, радостно помогала супругам ругать качество вещей, но неизменно заканчивала свою речь похвалами хозяину, хозяйке, покупке, потому что «лучшего купить все равно невозможно». В эти дни она пила чай в гостях и возвращалась к себе поздно. Если дворничиха признавала торжество художника, как поверженный император признает могущество того, кто возвысился, то соседка радовалась чужому благополучию от души, с детской горячностью и постоянством, воспитанным многими годами терпеливой бухгалтерской работы.

Чуть позже Филимонова в дом въехала молодая чета, обменявшаяся площадью с прежними владельцами, и заняла последнюю большую комнату в бельэтаже. Дворничиха и соседка наблюдали переезд с непонятным для молодоженов сочувствием. Они молча глазели на старый двуспальный матрас, на старомодный шкаф с пожелтевшим зеркалом, на послужившую посуду. Молодожены втащили утварь по стонущей лестнице и зажили слаженно, неслышно, словно их кто–то научил так жить. У них не бывали гости, и сами они никуда не ходили.

Он был высокий, с подчеркнуто спортивной фигурой, с модной прической, она — округлая, женственная, белокурая. Сначала они ссорились время от времени, но удивительно тихо — он выходил в коридор или на лестницу и курил, уставясь в пространство. Через час за ним выходила она, и они возвращались вместе. Филимонов догадывался, что эти ссоры вызваны пустыми часами, когда вдруг исчезает невидимый ритм, связывающий двоих. Они не были посвящены в происхождение этого ритма, получили его по наследству, не зная о нем. Они словно ехали на машине, не зная, когда кончится горючее, удивляясь перебоям, но не понимая их. Однако это их беспокоило. Филимонов чувствовал, что они

бессознательно ищут какую–то формулу, какой–то рисунок жизни, и поздравил их про себя, когда старый шкаф был выставлен в коридор, а его место занял новый. Теперь вещи привозили молодоженам — реже, чем художнику, но неуклонно. Теперь дворничиха и соседка уже могли сравнивать. Правда, эти приобретения не были праздничны, не были вдохновенны, но и он, и она ободрились, сдружились.

Это, конечно, придумала она. И не придумала даже, а угадала строящую линию своим женским существом. Все, что они покупали, было солидно, прочно, даже радиола, похожая на парадный подъезд высотного дома, — тяжелая и пышная. Торопясь упрочить быт, создаваемый на голом месте, она забеременела и ходила таинственно улыбаясь всем и всему.

Счастливые семьи жили дверь в дверь через коридор, но совсем не сообщались, и Филимонов, проходя коридором, ощущал между дверями пустоту. Художник рисовал конверты для пластинок, молодожены покупали пластинки — они приобщались к культуре. Это был ложный шаг, обещавший в будущем неуверенность и суету, влекущий в зыбкие тенета тщеславия, и затеял это он, подтвердив для Филимонова, насколько исчезла у мужчин живая, строящая интуиция.

Если бы молодоженам пришло в голову познакомиться с художником, приобщение к культуре прошло бы для них легче, но художник не знал, кто живет напротив, а молодожены не знали, что это он рисует конверты. В конце концов, обе семьи жили одинаково деятельно, но и это не помогло им сблизиться, и конверты, описав где–то снаружи сложную кривую, возвращались в дом анонимными предметами.

Дни проходили в заботах — необходимых и придуманных, дни были наполнены движением, но ведь каждый день завершала ночь, неподвижность в доме, покой в каменном четырехугольнике, рассеченном перегородками.

Покой? Лежа с открытыми глазами, Филимонов слышал, как надвигается на дом правда ночи, ее неотвратимая тревога, от которой не убежал еще никто. Только те, кто отваживался смотреть ей в лицо, узнавали что–то важное, но, получив ночное зрение, они слепли для солнечного дня, и день отталкивал их.

Вскрикивал художник — ему снилось, что его выводят на расстрел, торопливо топала жена, громко утешая его, загорался свет, два голоса — беспокоящий и успокаивающий — долго звучали в доме. Что–то происходило в комнате напротив, что–то снилось ей, и он, натыкаясь в темноте на мебель, не знал, что делать, как быть.

У дома проносились поезда. Мертвый свет молнией врывался в окна. Филимонов представлял, что делает сейчас соседка — одна в комнате, где каждый предмет стоит, напоминая ей родителей, умерших недавно в короткий срок. Соседка заботилась о родителях как о детях, они заменяли ей детей. И вот умерли родители, умерли дети. Соседка боялась жить, и понесла двойную утрату. Она боялась поездов, пугалась внезапного света. Она завешивала окно одеялом, потом, наверное, прятала голову в подушку, потом скрипела дверь: соседка выходила в коридор на цыпочках, боясь разбудить соседей, которые не спали.

Под окнами Филшлонов слышал шарканье метлы — дворничиха надеялась вернуть сон, утомив себя, но раз уж ей не помогало дневное утомление, ночной труд только развеивал сон. Филимонов думал, что ей легче всего помочь, ее недуг был прост и нагляден — детская обида простой души, — но она была уже недоступна облегчающему слову, незаметно миновав границу, от которой обиженный сам начинает обижать. Она обижала в душе растения и людей. Когда Филимонов здоровался с нею, она не слышала приветливости тона, не замечала дружелюбного взгляда. Она видела, что Филимонов одет в рабочую одежду, что он молод, и разговаривала с ним грубо, сварливо, как бы досадуя на то, что он, такой же, как все, как она, чувствует по–другому, не разделяет ее обиды.

Ее жалкая самостоятельность искала жертвы, ей нужен был козел отпущения. Филимонов не подходил для этой роли — он был молод, зато стариk, живший рядом с нею в полу подвале, вполне ее удовлетворил. Если бы у старика был хоть один бытовой порок, дворничиха уже давно сжала бы его со света, но стариk был опрятен, тих, трезв, он ни во что не вмешивался и не давал поводов придраться к себе. Он только гулял по ночам, не удаляясь от дома, но упрекнуть его в этом дворничиха не могла — она ведь и сама не спала.

Филимонов исподволь любовался стариком, его невозмутимым, чисто выбритым лицом и аккуратными усами, его мягкой шляпой, его палкой, его прихрамывающей походкой и прямой, несгорбленной спиной. Его бессонница была естественна, понятна. Старики спят мало. Он ходил вокруг дома без тревоги, он гулял, он дышал воздухом. Филимонов не мог назвать его стариком: это был старый человек, спокойно несущий красоту и достоинство старости.

В глазах дворничихи он был неправдоподобно,зывающе хорошим. Он сам, по собственной воле, освободил комнату, в которую въехал Филимонов, и перебрался вниз. Он ничего не хотел этим показать, его поступок был вызван простыми побуждениями удобства и целесообразности: комнату затемняли ветви тополя, а окна в полу подвале выходили на юг, на открытое место. Старику нужен был свет.

Дворничиха, наблюдая за стариком, пришла к выводу, что он живет не по средствам, и куда-то сходила. Ей обещали выяснить, — оказалось, пенсия у старика не простая, он когда-то безвинно пострадал. А когда он однажды взял лопату и выкопал канавку, чтобы осушить лужу, подступавшую к окнам полу подвала, дворничиха устроила громкий, визгливый скандал. Стариk был молоdeц — он извинился, поставил на место лопату и больше не трогал ее инструменты.

Филимонов догадывался, что спокойствие старика скрывает его тревогу, более глубокую и сильную, чем у других обитателей дома, — более высокую тревогу. Она не касалась мелких будничных забот. Это была тревога думающей памяти, зрячей души. Стариk, наверное, поздно начал думать, и не по естественной потребности, а под грузом пережитого. Когда такие старики додумывают свою мысль и находят простую формулу, которая кажется им откровением, они идут на улицу и кричат свою правду всем, всем. А до этого они уклоняются от разговоров, чувствуя, что чужие слова, даже умные и справедливые, могут сбить их с толку, отнимут созревающую правду, оборвут мысль.

Филимонов видел, как стариk прогуливается около строящихся домов, останавливается, поднимает голову, подолгу смотрит. Ему нравилась неспешность старика, размеренность движений, не имеющая ничего общего с праздностью, а дворничиху злила его праздность. Она все-таки была очень злая. Однажды только Филимонов увидел, как стариk не сдержался. Он стоял, глядя на каменщиков за работой, — тогда здесь еще строили кирпичные дома, — и вдруг рабочие побросали мастерки, кран остановился, послышался хохот, и все принялись носиться по лесам. Гнулись доски, с лесов падали кирпичи, ватники. У работы есть своя глупость, и она требует разрядки — движений, смеха, озорства. Доски содрогались так сильно, что с лесов сорвалась бадья с раствором. Она гулко стукалась о стены, трещало дерево, сыпалась штукатурка, а потом она шлепнулась о землю как живое тело, со страшным, леденящим душу звуком.

Тут-то стариk и не выдержал. Замахнулся сухим кулаком, закинул голову и закричал, напрягая шею:

— Безобразники! Гнать вас надо-о!

Парни прекратили возню, кто-то крикнул:

— Ты, что ли, за нас работать будешь, морковка?

— При царе вам бы работать! — выкрикнул стариk.

В ответ наверху рассмеялись. Кто-то брызнул раствором, испачкав ему шляпу. Стариk вытер шляпу и

ушел.

Весной, когда подсохло, он играл с сыном дворничихи, раскачивая звено канализационной трубы. Мальчик упирался руками и ногами в стенки, тихо смеялся, выглядывал из трубы. Если появлялась дворничиха, старик оставлял мальчика, боясь, что она начнет ругаться. Мальчик выбирался из трубы, растерянно кричал прозрачным, слабым голоском:

— Деда, ты куда ушел? А? Качай меня дальше, дед! Эй, дед! Де-ед!

Когда Филимонов только еще поселился в доме и у него заболела голова, он вышел поздно вечером искать аптеку и чуть не налетел на старика в темноте. Старик объяснил ему, где аптека, и сказал вслед:

— Не спешите, успеете, аптека работает до одиннадцати...

Но Филимонов побежал, не разбирая дороги, — не потому, что его мучила боль, а потому, что бежать ему было легко, и он привык передвигаться бегом. Он только чувствовал, что позади неторопливо вышагивает старик, предлагая ему ритм движения более удобный для тела и более достойный. Филимонов почувствовал это сразу, а осознал много позже.

В те дни Филимонов размышлял о том, что эгоисты выдумали словечко «альtruизм», чтобы изгнать из мира всех и все, кроме себя, но что люди, живущие за себя, не спасают себя, и если все-таки остаются в живых, то обязаны жизнью мысли, которую они предали, хотя и не убили. Что самосохранение означает медленное самоубийство, а самопожертвование — быстрое. Он размышлял также о том, как сохранить тех, кто вырос, избежав эгоизма, потому что эти люди, открытые природе, все же не защищены от яда, от плотоядения, которое страшнее саранчи. Он не знал тогда, как вредит поэтам сложение стихов, не знал, способен ли человек защититься от зависти, когда она окружает и теснит со всех сторон. Он не думал тогда, как сберечь ровное дыхание, потому что дышалось ему свободно и ровно. Он не верил, что ему когда-нибудь внушат почтение к тому, чего он не почитал, и заставят дорожить тем, что не могло быть ему дорого.

Теперь, глядя на обрубки тополей перед пятиэтажной бетонной коробкой, Филимонов вспоминал дом и думал о доме. Конечно, дом не мог уцелеть. Для этого нужно было, чтобы он сам жил. А он погибал, — и одна его часть отваливалась, другая замерла, третья негодовала, еще одна как бы не существовала вообще. Сам Филимонов присутствовал при агонии дома, он знал, что этому дому ничто уже не может помочь. Нужно было совсем другое устройство глаза, другое зрение, чтобы его спасти. Нужно было снова учиться смотреть друг на друга, узнавая в каждом его лучшее лицо, но это было забыто, запугано, затоптано.

Поэтому в силу вступали иные законы. Теперь обитателей дома вела судьба. Каждое их желание исполнялось, но не так, как они того хотели, а так, как они могли. Они не жили в доме, и дома не стало. Они получили квартиры, и те, кто хотел этого, были удовлетворены. Новый дом, похожий примитивными очертаниями на ящик или на палатку, удовлетворив некоторые мечты, потребовал отдать ему будущее. Он еще сохранял видимость человеческого жилья, еще соблазнял удобствами — газом, ванными и горячей водой, но тоненькие перегородки, но стены, которые так же легко было разобрать, как и собрать, предвещали обитателям полукочевую жизнь, тяготеющую к шатрам, к стойбищу, к вагонам, к непрерывному и быстрому перемещению в плоскости, на поверхности земли.

Начало 60-х годов

ЧАСТНЫЕ ДРОВА

И вот мы едем. Я стою на площадке в грязной, пачкающей одежде, в которой, как известно, проезд в трамвае запрещен. Придерживаю пересохший рулон толя. Он, по—моему, утратил свои свойства, кроме запаха. Пахнет здорово.

Рядом стоит Паша, мое непосредственное начальство. Это она везет меня с толем в тряской «восьмерке» неизвестно куда.

— Ты сильный, — говорит она мне. — Ты, наверное, будешь инженером... Или конструктором.

— Почему же я буду инженером?

— Вон у тебя глаза какие... решительные.

Смотрю на свои глаза, отраженные в стеклянной двери. Глаза у меня злые. Не злые — сердитые. На заводе у меня осталась уйма дел, и все неотложные. Во—первых, Толька Фролов изобрел вчера «приспособление, служащее для расточки круглых деталей любого диаметра из мягких материалов». Замечательное приспособление. Кому приходилось высверливать круг из какой—нибудь древесноволокнистой плиты, тот знает, какое это веселое занятие, какой при этом аромат и как горит сверло. Очень хотелось посмотреть на Толькино изобретение в работе.

Потом вентиляция. Надо залезть в центральную трубу и прочистить рукава, их забило с вечера пылью. У меня для этого занятия самый подходящий рост.

Потом комсомольские дела. Стало известно, что Татьяна Синицына, из третьего цеха, снова ругается с накладчицей и приемщицей, опять бросила школу и говорит, что похожа на Сильвану Пампанини. А обещала не ругаться! Обещала хорошо себя вести. Хочет быть «в передовых рядах советской молодежи» — так написала в заявлении, — мы ее в комсомол хотим принять, а она опять ругается!

И надо бы в обеденный перерыв провести с нею воспитательную беседу. Надо узнать, почему она думает, что похожа на Сильвану Пампанини, а если и похожа, так что из этого следует? Из этого не следует, что нужно бросить школу и ругаться с приемщицей и накладчицей...

Такие примерно слова я подбираю для того, чтобы моя воспитательная речь была предельно проста и убедительна. Вот только бы успеть до обеда.

— Паша, мы до обеда успеем?

— От тебя зависит...

— Что же мы все—таки будем делать?

— Приедем — увидишь.

— Куда?

— Увидишь...

Паша — табельщица. Это для нее по утрам мы снимали с гвоздиков номерки и опускали их в ящик, похожий на урну для голосования.

С сегодняшнего утра урны нет. Нет и доски с гвоздиками и номерками. Утром все по привычке сворачивали к тому месту, где она висела. Там стояла Паша и говорила:

— Вам оказывают доверие. Вы теперь совсем сознательные. За месяц не было ни одного опоздания. Директор предложил отменить доску, а завком поддержал...

И улыбалась всем подряд, будто извинялась. Прихожу в цех. Навстречу начальник:

— Пройдите на склад, найдите рулон толя и возвращайтесь...

Открываю склад — кругом листовое железо, толя не видно. Кладовщица говорит:

— Был там один рулон, наверное, засыпали...

И два часа я громыхаю железом, отдавливаю ноги, царапаю руки. Притом в складе — как на улице — минус восемь. Потому что уже декабрь. Работка на редкость осмысленная и производительная.

Наконец нашел. Принес в цех рулон, а тут начинаются загадки:

— Пойдите выпишите пропуск на вынос!

Пошел выписал.

— Оденьтесь потеплее... Натянул ватник.

— Возьмите ручник и гвозди...

Взял.

— Теперь ступайте в проходную, там табельщица Паша. Пойдите с нею.

Иду.

— Постойте... вы там директору... главному инженеру тоже глаза особенно не мозольте...

Пролетаю мимо административных дверей. В проходной Паша, в шубке с воротником, похожим на лисий. Увидела меня, покраснела.

— Это ты со мной поедешь?

— Ну да, я... А что?

— Ничего, тогда пошли.

И краснеет.

Дело в том, что я, с одной стороны, самый простой рабочий, не очень квалифицированный к тому же. А с другой — комсорг. На собраниях в президиуме сижу, между директором и председателем завкома. И рапорты об успехах подписываю внизу. Тоже вроде официальное лицо.

И вот мы едем. Смотрю на Пашу, на ее лицо с маленькими глазами и раздвоенной верхней губой. По таким лицам возраста не узнаешь. Посмотришь и скажешь: «Вот доброе лицо». Круглые лица обычно кажутся добрыми.

Она краснеет, а я еще задаю дурацкий вопрос:

— Сколько вам лет?

И чтобы не смущать:

— Я бы на вашем месте учиться пошел... (Я всех агитирую учиться.)

— Где уж мне...

— А что?

— Голова у меня теперь не та...

— А что? Вполне хорошая голова...

— Где уж мне в мои годы. А ты чего не учишься?

— Успеется.

— Ты давай сейчас, пока не поздно. Ты директору скажи, чтобы тебя на заводскую стипендию послали. Государство поможет... И будешь ты инженером. Директором будешь. Меня тогда на работу примешь?

— Ну, пока я директором стану, вы уже на пенсию уйдете... (Опять глупости говорю.)

— А я сейчас ухожу.

— На пенсию?

— Да... Сердце у меня никуда не годится. К машине теперь не пуснят, а доски нет. Выходи, приехали.

Теперь мы идем по какой-то улице. Паша впереди, я со своим рулоном чуть поодаль, как и полагается, а небо над нами холодное—холодное и от холода бледно—голубое. Дома в голубом дыму от мороза и солнца.

Мы сворачиваем в какой-то двор, где много дров и закутанных детей. Дрова тоже закутаны — обиты железом, фанерой, толем. Одна большая поленница — крупные сухие дрова — ничем не обита.

— Ну вот, — говорит Паша, — обей эти дрова. — И строго этак, свысока говорит. Чтобы делал — и никаких вопросов.

Но я задаю вопрос:

— Зачем же их обивать?

— Чтобы не промокли...

И смотрит на меня растерянно.

А я смотрю сердито. Вместо всех моих важнейших дел, вместо вентиляции, вместо воспитательной речи для Синицыной — изволь обивать какие-то частные дрова!

— Понимаешь, пойдет дождик, и они промокнут...

— Ну да, дождик. Наводнение в декабре, вселенский потоп! Скоро выпадет снег!

— Ты же знаешь, какая у нас зима. А вдруг дождь? Я тебе сейчас табуретку принесу...

И я, сердитый, взбираюсь на поленницу, раскатываю толь и начинаю стучать на весь двор. Прибиваю планки, чтобы крепче держалось, а снизу дети смотрят на меня изумленными глазами: такой маленький дядя, такой чумазый — и стучит зачем-то!

Вокруг ходит Паша, покрикивает, выдерживает тон:

— Сюда прибей... Сбоку не забудь. А вдруг пойдут косые дожди? А здесь вот криво...

— Ладно, ладно... (Пропадите — вы — пропадом — все — косые дожди — все — прямые — проливные — затяжные — вместе с дровами и табельщицами — Пашами! И с толем, который ломается от старости!)

Паша уходит.

Спускаюсь, осматриваю поленницу и вижу, что я — бездарный обивальщик дров. Самая некрасивая поленница во дворе, да, наверное, и во всем мире! Переделываю. Поленья ползут из-под ног, грохочут по булыжнику, и я сижу посреди кучи дров, окруженный закутанными детьми: странный какой дядя, стучал, стучал, а потом сломал дрова и сам упал!

— Кончай скорей, опаздываем!

Паша ходит вокруг поленницы, у которой теперь, по-моему, все-таки божеский вид. Как бы не так!

— А вот тут дырка! И здесь. А там щель... А тут нельзя прикрыть?

— Больше нечем, — говорю, — хватит!

— Вот тут бы еще... Ну, совсем немножко!

Р-раз! — и лоскут кожи отлетает от пальца. На морозе кожа твердеет, как известно, и вот результат.

В маленькой кухне, среди чайников и жирных фикусов, Паша перевязывает мне палец, и я узнаю, что она была на войне санитаркой и не такие раны еще перевязывала.

Потом мы заходим в комнату, в пустынную белую комнату, где пахнет чистотой и, наверное, нельзя так громко стучать этими рабочими ботинками.

— Проходи, проходи...

Здесь белые кровати, две вдоль стен, два стула и стол. Алые стеариновые розы на этажерке и вид на поленницу из окна.

— А это кто на портрете, мама?

— Нет, сестра Тамара. Она в больнице. Сердце у нее плохое. Садись, поешь... Погоди, сначала погрейся. Портвейн, красное... Комсорги ведь не пьют белое?

Хорошо... До пальцев в ботинках доходит теплота. Окоченевшие руки наливаются теплом, голубые тени проносятся по белому потолку, розы на этажерке алеют вовсю, а лицо Паши становится мягче и розовее.

Она подкладывает мне в тарелку колбасу.

— Ешь, мужчины любят колбасу...

Мужчины... Я смотрю на кровати, на две белые кровати с кружевами и покрывалами, с подушками и подушечками... Потом смотрю на Пашу, на ее круглое лицо.

...Иногда в эту комнату приходят мужчины. Здесь был маляр. Он громко стучал рыжими ботинками, переставлял ведра, водил размашисто кистью по стенам, присаживался на табуретку, курил, а Паша ходила по комнате и говорила хозяйским голосом:

— Вот здесь пятно, а тут надо еще подмазать...

Потом он срывал крышечку с бутылки пальцами в известке, торжественно кашлял и закусывал водку вареной колбасой.

— Ешьте, мужчины любят колбасу...

И в комнате пахло папиросами «Север», звенели рюмки — одна белая, вторая зеленая — и шел степенный разговор о победах и поражениях «Адмиралтейца», о третьем спутнике, о иных современных вещах.

И оставалась кожица от колбасы в тарелке, табачный дух... Оставались белые кровати, а сестра Тамара в больнице, потому что у нее плохое сердце...

— Ты за кого болеешь?

— За «Адмиралтейца».

— Я тоже... Ты ешь колбасу, ешь, не стесняйся.

И пока я ем колбасу, она рассказывает мне о том, как узнала, что табельная доска отменяется, как

вызвал ее директор и сказал, что государство ценит ее многолетнюю службу и поможет ей, и как она не знала, что попросит, а потом сказала, что надо обить дрова. Директор ответил, что это, конечно, сложно, хотя что-нибудь придумаем.

И так как я слушаю молча, она рассказывает дальше. Про завод в Мурманске, где она работала в войну, и показывает карточку, какая она тогда была. У нее были тогда упругие губы, косы, уложенные венцом, и робость в глазах. Тогда не красили губы и носили платья с квадратными плечами. А потом она пошла санитаркой, и как-то не было времени научиться красить губы сердечком и подтягивать брови к вискам черным карандашом. Заболела сестра, и надо было работать...

Так тихо в белой комнате, мы сидим такие молчаливые, а закутанные дети взобрались на поленницу, тихо гуляют по крыше из толя.

Тогда я закуриваю папиросу «Север», громко стукаю тарелкой по столу и становлюсь веселым. Таким веселым—развеселым! И рассказываю Паше, какая глупая Синицына, и что Толька Фролов изобрел вчера занятное приспособление, и спрашиваю под конец, не надо ли еще чего сделать по дому.

Но нет, ничего больше не надо. И мы идем по улице, рядом. На мостовую падают первые снежинки, и сквозь эти снежинки идут нам навстречу мужчины, с женщинами и без женщин, старые и молодые...

И Паша рассказывает мне, какой я буду счастливый, как я поступлю в институт и выучусь на директора. Буду ходить чистенький, с папкой под рукой и, наверное, не признаю табельщицу Пашу, если встречу случайно на улице.

И как я женюсь на хорошей девчушке. Не на красивой, а на хорошей, потому что для красивой я не сильно хороший.

— Ты ее не обижай только, ладно?

— Ладно

— Я знаю, ты не будешь. Ты будешь добрый, да?

— Да.

Обсудив мое светлое будущее, мы переходим на заводские темы и смеемся, какой у нас важный директор: заводик маленький, а он говорит — «среднее предприятие». А когда прощаемся в проходной, она говорит:

— Ну, спасибо, помог ты мне.

— Не за что...

— И развеселил, тоже спасибо. Только не рассказывай, что у меня был, а то неудобно: частные дрова.

Я иду в раздевалку. Рабочий день кончился, все ушли. Начальник цеха встретился:

— Ну как — выполнили задание?

— Выполнил...

— Молодец.

В коридоре на месте доски — чистый голубой квадрат. Два нелепых крюка торчат по краям. Что-то слишком нелепых!

В ушах звучит Пашин голос: «Спасибо, помог, развеселил...» Ничего я не помог. Разве же это я помог?

Когда я умываюсь, в дверь просовывается красивый нос:

— Чего тебе, Синицына?

— Ах, какой аккуратный у нас комсорг, как он моется!

— Чего тебе?

— Ругать меня, слышала, хотят...

— Ладно, убирайся...

— Ой, напился, что ли, а еще комсорг!

— Уходи, уходи, Синицына. А ну, закрой дверь! Не знаешь, что ли, — комсорги не пьют белого...

60-е годы

МАРИЯ

Мария из всех продавщиц самая толстая и старая. Она стоит за прилавком, будто идет. Так поднята голова, так выдвинуты грудь и живот. Она стоит и идет, идет и плывет, — на вид такая гордая, а на самом деле добрая.

Все ушли обедать, одна Мария осталась. В пустынных залах гуляет теплый ветер с улицы. Дверь открыта, но никто не заглядывает — лето, вторая половина дня.

Мария стоит, откинувшись назад, и бутылки на витрине за ее спиной откинули серебряные головы, выпятили зеленые животы.

Напротив, над пестрым прилавком кондитерского отдела, неразборчиво мурлычет радио. Магазинная кошка Светка ступает по цементному полу, потягивается, шаркает лапами.

На площади звякнули трамваи и умолкли. Протрещал мотоцикл, огибая площадь, и затих... Прокатился автобус, стекла подрожали и перестали.

Из служебного хода появляется рабочий Петрович — маленький и тощий. Ему тяжело нести ящик пива. И от этого Петрович скалит зубы. Есть у него во рту несколько корешков.

Мария смотрит на Петровича величественно и добро. Петрович через силу улыбается, вскрикивает животом и лихо ставит ящик на прилавок.

Мария пересчитывает бутылки, шевеля толстыми губами. Петровичу больше нечего делать, и поэтому он смотрит ей в рот. У Марии есть золотой зуб, он взблескивает под губой, и Петрович думает о том, что не худо и ему завести золотые зубы. Или металлические. Или искусственную челюсть.

— Иди, Петрович, обедай, — ласково говорит Мария.

— Даык я уже...

Мария складывает руки на животе, хмурит насмешливо толстые брови и выжидательно разглядывает Петровича.

Петрович отводит глаза. Он хочет попросить пива. И Мария знает об этом. Но раз она сама не дает, он не решается попросить открыто. Он начинает заговаривать зубы:

— «Продавец Ме — Пе Рассказова», — медленно читает он табличку, прибитую сбоку на стене. — Какая у тебя фамилия — Рассказова...

— Какая? Как все...

— И каких только на свете фамилиев нету... Наверное, миллион...

— Кто его знает, — любезно отвечает Мария. — Может, и больше. У меня из слова «рассказ» фамилия получилась...

— Вот в нашей квартире жилец один живет, так тот Сказкин, Фе — Де Сказкин... С портфелем на службу ходит. Большой портфель...

— С портфелем... Он что — профессор?

— Да нет, лехтор он. Лехции читает. О вреде пьянства...

— А сам небось заливает что ни вечер...

— Нет, тихий он. И заработка, говорят, не так чтоб уж очень... Вот артисты эти, писатели... те да...

Нахлещутся — маме не узнатъ...

— А вот и врешь, Петрович, — неожиданно энергично возражает Мария. — Писателям пить некогда. Писатели пишут...

— Где там — некогда. А нам когда? Ты бы, Мария...

— Некогда, — твердо говорит Мария. — Я и рассказ читала такой про писателя. Так и называется: «Некогда». Все ему, несчастному, было некогда. Все писал, писал, да так от чахотки и умер...

— С чего ж это он чахотку нажил? — рассеянно спрашивает Петрович.

Петрович стоит, опустив большие руки, а Мария приваливается грудью на ящик, — удобно ей, хорошо, — и продолжает рассказывать, вспоминающе поглядывая на потолок.

— Чахотка у него потом началась. Он сначала здоровый был... Все книжку писал... про графиню Аброз... Аб—раз... Амбарскую, что ли. Студент еще был. Совсем молоденький. Талантливый, видать...

Рассказ этот про него я еще у отца нашла, как хоронить его в деревню ездила. Маленькая тогда была, а читать уж умела... Красиво там написано было... как же эхо... а... «Она посмотрела на него изящными голубыми глазами, и крупные, как алмазы, слезы... выступили»... подожди—ка... «выступили»... не помню уж... Красиво только написано... Это уже потом, когда у него невеста появилась. Вот она все его просила: «Пойдем, Жоржик, погуляем», а он ей: «Некогда мне, милая Фанни». Так они и не поженились. А хорошая бы из них пара получилась! Оба молодые, образованные... Я, когда за своего вышла, все, помню, ему книжку эту читала. Он у меня все лежал больше, как с войны вернулся... Нерв ему на войне перебило, так вся правая половина как неживая. Прибегу с фабрики, готовлю скренько поесть и читаю... про писателя этого, как он кровью харкал... кашлял да писал, кашлял да писал... Однажды кашлянул в муслиновый платочек, который ему Фанни подарила, а там кровь...

И долгов у него много было. Все из долгов не вылезал. Да и люди тогда были не то что теперь. Богатые в долг не давали, а у бедного и своего нет... Еле—еле насобирал на дорогу и поехал на Кавказ, в Сухуми... Абрикосы там, мандарины... Перед финляндской войной, помню, тоже много мандаринов продавали, завезли откуда—то. Ананасы тоже... Боречка мой только осенью в Электротехнический поступил. Приходит, говорит: «Ты, мамочка, не сердись, не плачь, мамочка, я добровольцем записался...» Я ему тогда мандаринов на дорогу накупила... Да... Вот поехал писатель на Кавказ, стал оттуда Фанни своей письма писать... Дескать, родная моя, горячо любимая Фанни, приезжай меня навестить, потому что, говорит, доживаю последние дни на этой грешной земле... А она ему хоть бы слово в ответ написала... Как мой Боречка. Сначала писал, а потом нет и нет, нет и нет... И ни слуху ни духу, ни в мертвых, ни в живых... Она не едет к нему, не пишет, а он желтый стал с лица, и глаза у него огромные, бездонные такие глаза, печально смотрели на ароматную природу цветущего юга...

А она ему, дрянь этакая, отписала в конце концов, что, бедный мой Жоржик, прощай. Прощай навеки, а я выхожу замуж за другого... А все, говорит, потому, что тебе было некогда... а я молодая, жить хочу... Понятное дело. Кто жить не хочет?

Заплакал этот писатель горькими слезами и судьбу свою проклинал: «Зачем я всю жизнь писал, безо всякого отдыха и развлечения... И вот теперь умираю, бедный, больной, одинокий, и никто не украсит яркими южными цветами мою сиротливую могилку». Так и помер над своим сочинением... И последнюю, самую лучшую книжку писал про несчастную к Фанни любовь...

Я бы и сейчас тот рассказ почитала, да в блокаду на растопку извела... Как вспомню — до сих пор жалко...

А Боречка не любил. Ты, говорит, мама, от любой чепухи слезу пускаешь. Помер, говорит, так ему и

надо. Не пиши, значит. А как же ему было не писать, когда он писатель?..

Сильный у меня Боречка был, спортсмен... веселый. Поднимет меня, бывало, одной рукой... Теперь бы не поднял... Я писем ждала, ждала... В позапрошлом году написали. Помер, пишут, ваш сын в Карельской республике от сердечной болезни.

— Вот она жизнь какая... — задумчиво говорит Петрович. — Помер, значит, писатель от сердечной болезни...

— Чем слушал, Петрович, — ласково говорит Мария. — Сын мой, Боречка, от сердечной болезни помер, а писатель — от чахотки. Боречка у меня спортсмен был. Его никакая хворь не брала... А ты, Петрович, что маешься? Горло пересохло, да? Все бы тебе пить... Позавчера не вышел, а мне ящики таскать пришлось. Меня бы пожалел... На вот. Бутылку только принеси назад...

Петрович уходит, пряча бутылку под фартуком. Хлопает дверь.

Со двора долетает истошный детский крик.

— Борька, Борька—а—а! Борь...

Мотоциклы на площади начинают трещать.

Звенят оба трамвая на кольце и уходят один за другим гудя.

Мясники, тяжело топоча, вносят куски коровьей туши. Трясутся стекла от автобуса, огибающего дом, и делается темно.

Водители такси гуськом переходят улицу. Наверное, за пивом.

Мария, кряхтя, убирает ящик под прилавок, распрямляется, складывает руки на груди и стоит откинув голову, и глядит перед собой влажными глазами.

60^е годы

ЗУБ БОЛИТ

На подъезде к большому городу поезд трясет сильнее, чаще стучат стрелки, большие фонари — когда-то газовые, а теперь электрические — едва освещают изнутри свои грязные стекла.

Вагон почти пуст. На ближней к двери скамье спит, накрывшись зеленым ватником, невысокий парень. Ноги в солдатских сапогах поджаты к подбородку, ладони спрятаны между коленями, под головой — серая ушанка. Полные губы чуть тронуты улыбкой.

Вероятно, ему снятся хорошие сны.

За дверью, напротив туалета, сидит, скорчившись, засунув руки в рукава облезлого бобрикового пальто, худой белобрюхий подросток. Он то и дело оглядывается на дверь, ведущую в вагон, затем на дверь, ведущую в тамбур, и, убедившись, что никто не идет, выхватывает из рукава сигарету, торопливо затягивается и покрасневшей от холода рукой прячет ее в рукав.

В дальнем конце вагона хлопает дверь. Подросток вскакивает, дергает дверь туалета и тихонько прикрывает ее за собой.

По вагону движутся сонная проводница и контролер. Проводница неласково расталкивает спящих пассажиров, контролер улыбается и щелкает в воздухе щипцами. Очередь доходит до парня в солдатской одежде. Проводница дергает его за сапог. Парень сразу же открывает глаза, приподнимается.

— Что, тетя, подъем?

— Предъявите билет!

— До города далеко? — спрашивает он счастливым сонным голосом, протягивая билет.

— Сегодня там будем, — сердито отвечает проводница, а контролер, возвращая билет, говорит сочувственно:

— Наелся кашки?

— Досыта, — отвечает парень, улыбаясь. Контролер и проводница проходят в тамбур, останавливаются перед туалетом.

— Кого здесь везешь?

Это, должно быть, обычная шутка контролера.

— На, проверь, черт старый, — зло отвечает проводница и, подавая ключ, добавляет: — Еще в Луге закрыла.

Контролер смеется, примирительно подхватывает проводницу под руку, и они идут в следующий вагон.

Следом за ними к туалету подходит, потягиваясь, парень. Он дергает дверь и, прислушиваясь, стучит. Затем снова пытается открыть. Дверь не поддается.

Приставив губы к дверной раме, парень говорит тихо:

— Зайчик, не бойся, пусти меня. — И добавляет повелительно: — Порядок. Вылезай!

Щелкает задвижка, дверь медленно приоткрывается. Пропустив парня, подросток молча проскальзывает на прежнее место, садится, сгорбившись, сует лицо в воротник пальто.

Парень провожает его долгим скептическим взглядом, качает головой и закрывает за собой дверь.

Через минуту он выходит, разглаживая большими пальцами гимнастерку под ремнем. Останавливается у окна, закуривает, бросая косые взгляды на сидящего почти у самых его ног подростка. Тот, видимо, порывается о чем-то попросить, наконец решается и говорит хриплым от смущения голосом:

— Керя, дай закурить!

Парень протягивает пачку и спрашивает равнодушно:

— Что, голод в брюхо загоняешь?

— Нет, — торопливо отвечает подросток. — Зуб у меня болит...

— Да ты не бойся, — продолжает парень, гордясь своей проницательностью. — Мне все равно тебя накормить нечем. Весь «энзе» подъел.

— Говорю тебе, не хочу рубать, — говорит подросток со слезой в голосе. — Не видишь — зуб душу наружу выворачивает?

— С чего это он у тебя? — снисходительно спрашивает парень.

— С несправедливости, — мрачно отвечает подросток и прячет лицо в воротник.

— Да ну? — Парень вскидывает густые брови и смотрит на подростка с любопытством.

— И каждый раз, как сделают со мной какую несправедливость, так он у меня и заболит, — в перерывах между жадными затяжками говорит подросток.

— Чуткий у тебя зуб на несправедливость, — усмехается парень.

— Не скажи, — откликается подросток, хватаясь ладонью за щеку. — Сразу обиду чует.

— Что ж у тебя за обида?

— Начальник обидел.

— Ты ему не понравился?

— А тебе я нравлюсь? — с вызовом отвечает подросток и поднимает к свету худое грязное лицо.

— Я тебе не начальник, — спокойно говорит парень, — и не девушка, между прочим. Ты давай выкладывай свои обиды, а я рассужу.

— Много ты рассудишь, — криво усмехается подросток и умолкает.

Но, видно, ему не терпится рассказать о своих неприятностях. Давно уж везет он в сердце обиду, давно молчит. Люди заговаривали с ним в пути, иногда ласково. Иногда его кормили. И если бы он не прятался всю дорогу от проводников и контролеров, а сидел бы на равных правах со всеми в вагоне, наверняка нашлась бы добрая душа, которой захотелось бы расспросить его о житье-бытье, узнать, что с ним случилось и чего он ищет. Теперь такая душа встретилась, но подростка смущает насмешливый тон бывшего солдата.

Парень тем временем сам переходит в наступление.

— Зачем в город едешь?

— А ты зачем? — быстро говорит подросток, всегда готовый к нападению, как пес, забежавший на чужую улицу.

— Я отслужил, домой еду, в детдом свой, — отвечает парень неожиданно спокойно и мягко.

— Я ведь тоже детдомовский. В Сатке был, на Урале, знаешь?

— Не слыхал. Я всю жизнь в Ленинграде пробыл, до самой армии.

— Так ведь я тоже ленинградский, — радостно подхватывает подросток. — Только вывезли нас, как война началась.

— Земляки, значит, — рассудительно замечает парень и, передернув плечами, предлагает: — Что здесь мерзнуть, пошли в вагон.

Они проходят в вагон, садятся на боковую скамейку, и подросток начинает внезапно рассказывать, вытягивая шею, хватаясь за щеку и время от времени останавливаясь, чтобы вытащить папиросу из пачки, которую положил перед ним парень.

— Вот, понял, приехали в лесхоз, а он ни варежек не дает, ни сапогов. Своих у меня нет, а холодно — сам понимаешь. Прихожу, говорю: «Без сапогов не работа». А он мне говорит: «А тебе и в сапогах не работа. Ты, — говорит, — недоделанный...» Тут он у меня и заболел. Так заломил, задергал, что я за щеку ухватился и мычу. А он: «Чего мычишь? Мычи не мычи, сапогов не дам. Нету». Я говорю: «Рассчитайте меня, ухожу от вас». А он говорит, что с меня еще причитается за ссуду. Ну, я сел и поехал...

— В городе есть у тебя кто? — спрашивает парень.

— Есть, сеструха... — неохотно сообщает подросток.

— Ты к ней едешь?

— Может, и к ней...

— Что ж так?

— А был у нее тот раз...

— Ну?

— Да она замужняя, ей до меня делов, что до печки... Племянники у меня есть, — добавляет он с неожиданной лаской и тут же морщится, хватается за щеку, не переждав приступа боли: — Пашка и Гошка.

— О чем ты?

— Племянники у меня — Пашка и Гошка, — облегченно вздохнув, поясняет подросток.

Он умолкает и начинает раскачиваться в такт толчкам вагона. Зуб, видно, всерьез донимает его.

Молчит и парень. Морща лоб, поглаживая короткими пальцами густой ежик, он обдумывает что-то и уже хочет сказать, но подросток, отняв руку от щеки, продолжает свой рассказ так же внезапно, как начал.

— А тот раз, как от сеструхи ушел, на вокзале ночевал, меня и застукали. Приводят в дежурную комнату, документы смотрят: «Ты, — говорят, — почему с Каслинского завода ушел?» Я говорю: «По собственному желанию. И в трудовой книжке, — говорю, — так написано». — «А зачем?» — «Такое у меня желание было». — «А сюда зачем пожаловал?» — «Домой», — говорю. «А где твой дом?» — «Здесь...» А он: «Так тебе и поверили. Паспорт у тебя далеко отсюда прописанный». Я говорю: «Вы не смотрите, где прописанный, а смотрите, где я рожденный». — «Почем, — говорит, — я знаю, много вас до сладкой городской жизни охотников. Твой батя, может, лаптем на повороте тормозил, а ты норовишь в городские записаться. Чтоб в двадцать четыре часа отседова умотался...» А у меня отец летчик был, испытатель. На новых самолетах они летают, знаешь?

— Я это знаю, а ты...

— Постой, — подросток торопливо взмахивает рукой, будто желая поведать самое главное: — И тут, понял, как задергает, как засверлит в самом нутре у него...

Подросток снова умолкает и глядит с тоскливым безразличием в темное окно. Сейчас самое глухое время ночи, и даже здесь, в густо населенных пригородных местах, редко светят огни.

Парень, отвернувшись к окну, морщится досадливо и говорит с неожиданной иронией:

— А ведь зуб—то у тебя правильно болит!

— То есть как правильно? — Подросток поднимает удивленное, искаженное болью лицо, и в глазах у него загораются злые огоньки.

— Он на тебя сердится, — спокойно, с улыбкой поясняет парень. — Зубы летунов не любят...

— Каких еще летунов? — спрашивает растерянно подросток.

— А тех, которые не на самолетах, а с места на место летают. Тут им без сапог плохо, там нос у начальника не нравится...

Парень смотрит на подростка в упор, насмешливо, чуть презрительно, и подросток под его взглядом начинает ерзать по скамейке. Он чувствует какую—то несправедливость в словах парня, он уже слышал такие слова раньше. Правда, тогда об этом говорилось не ему, а теперь вот ему говорят, и неизвестно, как тут надо поступить.

А парень ждет ответа, смотрит, довольно улыбаясь.

Подросток наконец соображает, как ему следует поступить в этом новом и неожиданном повороте дела. Он вынимает изо рта папиреску и отворачивается, втянув голову в плечи.

Парень видит светлый затылок, клочья волос, нависшие над облезлым воротником. Переводит взгляд на узкую спину, и в душе его, привыкшей за годы службы к строгости, к порядку, возникает странное брезгливое ощущение. Холодная острыя дрожь пробегает по ногам, по животу и неприятно щекочет зубы. Вместе с ней появляется жалость, подобная жалости к бездомным котятам и щенкам.

— Может, ты и вправду недоразвитый? — спрашивает он нарочито грубо.

Подросток, не оборачиваясь, бубнит сквозь воротник:

— Сам ты недоразвитый...

И тогда в душе у парня поднимается непонятная злоба к этому тщедушному существу.

— Жизни не знаешь! — говорит он громко. — Попал бы ты ко мне в отделение, я бы из тебя живо человека сделал.

— А меня в армию не взяли, — злорадно, с вызовом отвечает подросток, вновь повернувшись к парню лицом. — У меня печенька или почки... Болит в них что—то.

И, словно боясь разозлить парня, признается откровенно:

— Только я там никакой боли не имею...

— С какого ты года? — уже спокойно спрашивает парень.

— С тридцать девятого.

Парень озадаченно разглядывает спутника. На вид ему лет семнадцать. Говорит невнятно, будто и в самом деле недоразвитый, чокнутый какой—то. Такого обидеть ничего не стоит. Может, и не врет, что обзывают.

— Звать—то как тебя? — спрашивает он со смутным участием.

— Только... — Подросток откашливается и добавляет солидно: — Анатолием.

— А меня — Павел, — сообщает бывший солдат.

— Ты не думай, я квалификацию имею, — гордо говорит Толька. — Слесаренок я, по пятому разряду

работал.

— Так чего же ты ушел, дурья голова? Работал бы себе на здоровье.

— Вот и я так думаю, — с готовностью подхватывает Толька. — Житуха там, в Каслях этих, ничего. И в общежитии койка. С простынями, одеяло тоже красивое...

— Ну?

— Так, знаешь... — Толька мнется, подыскивая нужное слово, и, не найдя его, говорит: — Понял, они нам годов прибавили и в фезеуху сплавили в пятидесятлом. «Подпиши, — говорят, — заявление». А я говорю: «Не буду». Ну, и заставили...

— А потом-то ведь лучше стало? — настойчиво спрашивает Павел.

— Муторно мне стало, муторно, понял?

Поезд въезжает в пригород. Огни, крупные и частые, все медленнее плывут за окном. Хлопает вагонная дверь. Толька вздрагивает, пригибается. По проходу проносится холодный дымный ветер, и торопливо пробегает проводница, едва взглянув на парней.

Толька провожает ее настороженным взглядом и отворачивается к окну.

Перед его глазами встает первое видение большого города: огромный дом с балконами, с широкими окнами, синеющими в ночи. Несколько окон слабо освещены. В них угадывается тихая новая жизнь. Кто-то за полночь засиделся над книгой, кто-то меняет пеленки малышу.

И вдруг — подряд три ярко освещенных окна. Горит хрустальная люстра, горит лампа под розовым абажуром.

Толька знает: там, за кружевной занавеской, тепло, уютно, там мягкие простыни и пушистое одеяло, а главное — там к кому-то относятся очень ласково, может быть, гладят по голове...

И Толька, не зная почему, начинает перебирать в душе все обиды, сколько запомнил.

Вспоминает директора детдома. Вспоминает, как тот вызвал его в кабинет и долго ругал за плохое поведение, за то, что в табеле половина троек, за то, что на прошлой неделе Толька получил двойку по арифметике, а потом директор сказал, что держать тупиц на государственных харчах он не будет, и дал подписать заявление в ФЗО.

Вспомнил, как били его в этом ФЗО пацаны, били зря, потому что не он донес на Веньку. Вспоминает, как в первый день на заводе мастер дал ему стальной бруск и велел сделать восемь сверлений по пять миллиметров и восемь по восемь, а потом непонятно почему водил его к начальнику цеха и кричал: «Вот, гляньте, каких сопляков приводят! Им титьку сосать, а не работать...»

И другие обиды вспоминает Толька. Их уже накопилось так много, что уже не больно, кажется, получать новые...

А еще Толька чувствует за собой вину, и не одну — много. Сколько ездил без билета, сколько ел чужого хлеба! И, может, прав этот Павел, может, зуб у Тольки в самом деле из-за него самого болит...

А зуб, болевший до сих пор тихой тлеющей болью, вдруг разламывает челюсть, и холодный пот выступает на бледном Толькином лбу.

— Что, опять заломило? — сочувственно спрашивает, заглядывая ему в лицо, Павел.

— У-ум... — отвечает Толька и, схватившись обеими руками за щеку, раскачивается, отвернув лицо, чтобы не жалеть себя сильнее, слушая сочувственные слова.

Светлые окна вызывают у Павла совсем другие воспоминания. Он думает о том, как сейчас освещает луна дома на Мойке, похожие на фанерные декорации, которые они раскрашивали, когда ставили в драмкружке «Женитьбу». Он играл Подколесина, Юля — сваху.

Юля в последнем письме в часть прислала фотокарточку, там она снята в белой шапочке и в халате. Учится в медучилище, через год кончает.

Елизавета Сергеевна писала, что выросла Юлька и стала совсем взрослой, похорошела, прибрала волосы в косы, пополнела. Он думает, что не случайно расписывает Елизавета Сергеевна Юлькину красоту, наверное, она хочет видеть их вместе.

Юлька в последнем письме нацарапала крохотными буквками: «Целую». Она целует его, Павла, и скоро он будет целовать ее по—настоящему.

И под стук колес Павел мечтательно перебирает круглые слова из ее письма.

— А у нас в Сатке на праздники подарки всем ложили под подушку, — вдруг говорит Толька.

— Эк, чем удивил!

Павел напряженноглядывается в нескладную Толькину фигуру и никак не может понять, чем же недоволен этот парень. Ведь сам себе жизнь затрудняет!

И, не понимая, что новый приступ раздражения вызван тем, что Толька прервал его красивые и приятные мечты, Павел дергает его за рукав и спрашивает первое, что пришло в голову:

— Так что же ты на начальника своего не пожаловался?

— На какого?

— Да в лесхозе!

— Кому ты в лесу пожалуешься, пням, что ли?

Поезд дергается и останавливается. Павел резко поднимается с места, натягивает ватник, ушанку, закидывает привычным движением за спину вещмешок и быстро идет по проходу к дальней двери.

— Кому ты в лесу пожалуешься? — неожиданно громко кричит ему вслед Толька.

Кричит он от удивления. Он все ждал, что Павел скажет ему что-то очень важное, после чего Тольке легче станет жить на белом свете. Не зря же так необыкновенно много рассказывал он Павлу о себе, не зря же Павел так внимательно слушал его.

Павел останавливается, оглядывается. Толька сидит на скамье, согнувшись, спрятав голову в воротник.

Тускнеют и медленно гаснут вагонные фонари. Только зигзаги спиралей светятся колюче и жестко.

— Толька, — тихо зовет Павел. — Толька...

И слышит тихие всхлипывания, похожие на бульканье воды в котелке с картошкой.

— Толька, ты что? — Павел поворачивается и идет обратно, громко стуча сапогами.

— Ничо... — плачущим голосом говорит Толька. — Зуб у меня болит. Иди домой.

— А ты? — растерянно спрашивает Павел.

— А мне не впервой, — твердо отвечает Толька. — Я — так...

— Знаешь, — говорит Павел, — запиши наш адрес. Придешь к нам завтра, что-нибудь придумаем.

— Куда это к вам?

— Ну, к нам. Елизавета Сергеевна, знаешь, какая тетка!..

— Не, — решительно отвечает Толька.

— Чего ж ты?

— Не, — упрямо повторяет он и добавляет давно знакомые ему слова: — Вам до меня делов, что до печки...

...Они идут вместе по пустынному вокзалу. Редкие случайные звуки дробятся под высоким потолком, и кажется, что там воркуют голуби.

— А в поликлинику ты сходи обязательно, — наставительно говорит Павел. — Скажешь, что в командировку приехал или еще что... Не может быть, чтоб зуб человеку не выдрили, раз у него болит!

— Ну, пока, — внезапно говорит Толька и сворачивает к скамейкам.

— Ты куда?

— На ночевку, — с деланной беззаботностью сообщает Толька.

Он круто поворачивается, и Павел снова видит Толькину спину и замечает, какая неровная, нестроевая у него походка.

— Постой, — негромко окликает его Павел. Он вынимает из кармана гимнастерки тонкую пачку рублевок, отсчитывает несколько и протягивает деньги Тольке.

— Ты чего? Брось, — растерянно бормочет Толька.

— Бери, — строго говорит Павел. — Шамать завтра надо?

— Не, — решительно отвечает Толька и вдруг улыбается широко и сочувственно. — Думаешь, не знаю, как тебе придется? Так что спасибо...

Павел выходит на площадь, быстро пересекает ее, вступает на тротуар, покрытый легчайшим пухом недавно выпавшего снега.

Он идет и думает о Юльке, о Елизавете Сергеевне, старается представить себе, чем она посоветует ему заняться. Хорошо бы матросом на торговый пароход!..

В лад шагам и свежему снегу мысли его быстры и свежи. Мысли согревают его, мысли о будущем, о далеком и о близком.

Но всю дорогу от Измайловского проспекта до Мойки ощущает он смутное беспокойство: ему кажется, что сбылась портнянка в правом сапоге, сбылась и давит на пальцы. Он останавливается, шевелит ногой в сапоге. Нет, все в порядке, и идет дальше, домой.

1959

АДАМЧИК

1

Адамчика подхватило с боков, мягко поддало сзади, и он очутился на асфальте. Он отпрыгнул. Мимо пронеслись люди, запахивая пальто, исчезли в тумане. Адамчик проводил их взглядом, покачал головой и сказал:

— Ничего не понимаю!

Автобус напустил на него душное облако, Адамчик чихнул и пошел, подпрыгивая, шарахаясь внезапно от края тротуара к домам, легко и бесшумно, как летучая мышь. Он шел и думал, пытался понять, отчего так уютно было в автобусе и что происходит с людьми, когда они выпрыгивают на тротуар. Люди меняются, но как, где они лучше — в автобусе или на улице, — этого Адамчик не может понять.

Голова его ясна, он уже давно проснулся. Сонные лица в автобусе казались ему смешными. Он протискивается к двери, с удовольствием расталкивая податливые бока, потом пригрелся, прижался к ватной спине, упругой, похожей на матрас. И вдруг — толчок, скрип двери, холодная сырость...

Однажды он ехал на работу вместе с тетей Верой, браковщицей. Она не заметила Адамчика, дремала, клевала носом воротник, а он стоял рядом и созорничал: ткнул тетю Вера в бок кулаком. Тетя Вера подняла голову, открыла глаза и так ласково улыбнулась, что Адамчику захотелось толкнуть ее еще раз, когда она закроет глаза.

Но та же самая тетя Вера, только включили конвейер, стала кричать:

— Эй, там, осадка, давай ровнее!

Адамчик знает, что брак на осадке непоправимый: осадишь неровно пружины — придется переделывать весь матрас. Но зачем кричать? И он продолжал лихо накидывать шпагат на пружины, забавляясь тем, что одни получаются коротышками, другие — долговязыми кривулями. Он видел сверху горловины пружин, похожие на кричащие рты, перекошенные, захлебывающиеся в крике, и сам вдруг закричал: «А-а-а!»

На него зашикали женщины:

— Ишь, глотку дерет с утра!

А с дальнего конца конвейера кричала, надрывалась тетя Вера:

— Осадка, ровнее! Ромка, смотри, буду рамки снимать!

«А-а-а! Ух!» — отвечал Адамчик, прыгая от одного конца рамки к другому, где надо пробивать гвозди. Тогда прибежала тетя Вера, оттолкнула его от конвейера, быстро, ловко стала осаживать пружины сама. Адамчик постоял, тронул ее за плечо:

— Тетка Верка, пусти!

Она подняла лицо от конвейера и посмотрела на Адамчика такими злющими глазами, что он вспомнил мать: она так же кричит на него, когда он поздно приходит домой. И у нее такое же красное и злое лицо.

Адамчик сказал:

— Пусти, ну! — и стал сжимать пружины так сильно, что витки прикоснулись один к другому и сделали пружины жесткими, как гвозди. Тетя Вера посмотрела немного, как он работает, тихонько отошла. Адамчик

глянула искоса ей вслед и пробормотала: «Ничего не понимаю». Непонятно было то, как может лицо тети Веры так хорошо улыбаться в автобусе и быть таким злым на работе. Будто две разные тети Веры. А ругалась она за дело, потому что пружины надо осаживать ровно.

А тетя Вера кричала на кого-то в дальнем конце конвейера, очень далеко, и Адамчик перестал думать о ней, довольный тем, что она далеко, и напуганный расстоянием между двумя ее лицами — улыбающимся и злым. В этом расстоянии умещалось тридцать матрасных рамок и много женщин вдоль конвейера, сигнальный щит с белой стрелкой и тревожные вспышки сигнальных ламп. Адамчик знает, как трудно сделать одну рамку, как долго обрастают она шпагатной перевязью, холстом, взлохмаченной рогожей, ватой, прежде чем стать гладким полосатым матрасом.

Ему кажется, что думать так же долго и так же трудно.

2

Адамчик шел домой. Скользил по накатанным ледяным дорожкам, шарахался к витринам, пугая прохожих. В стекле отражался симпатичный молодой человек в серо-зеленом немецком пальто, в красном кашне и серой вязаной шапочке с козырьком. Адамчик поджимал губы, хмурился, казался себе серьезным. Он нес получку и думал о том, что мать потребует деньги за комнату. Поглаживая его по голове и щекоча ребра, она будет просить денег, а он, конечно, не даст, и тогда она устроит скандал на всю квартиру и будет кричать о том, что выгонит из дома.

Смотреть на свое отражение и одновременно думать о важных вещах неудобно, поэтому Адамчик шел боком, прыгал, забыв о том, что хотел быть серьезным, и очень скоро налетел на женщину, которая несла яблоки. Яблоки покатились по скользкому асфальту, как будто удирая одно от другого. Адамчик посмотрел и засмеялся.

Женщина крикнула:

— Хулиган!

Из школы выбегали третьеклассники. Они закричали хором:

— Хулиган, хулиган! — и стали помогать женщине собирать яблоки.

Адамчик обиделся. Под рукой у него появилась сбитая на затылок шапка с торчащим ухом, и он осадил шапку вниз и немного от себя, как пружину. Мальчик упал, полежал немного на тротуаре и горько заплакал. Его розовый носик жалобно хлюпал. Адамчик нагнулся и поднял мальчика, потом шапку. Отряхнул ее о колено, надвинул на затылок. После этого мальчик изловчился и стукнул Адамчика в нос. Кругом закричали:

— Хулиган, хулиган!

И Адамчику ничего не оставалось делать, как уйти — чем быстрее, тем лучше.

Других происшествий по дороге не было, и Адамчик обстоятельно подумал о том, что раньше, года два назад, было все-таки лучше, можно было отдавать получку матери, иногда она даже готовила обед. Он хотел вспомнить, когда стал платить матери за ночлег, но не смог —казалось, что очень давно, когда он был еще маленький. Время, которое он помнил, делилось по крупным событиям. Начиналось оно с портрета Адамова, висящего в комнате на стене. Когда-то Адамов был отец, пapa, но Адамчик помнил его как Адамова в солдатской гимнастерке на портрете. Потом шло время школы. Было где-то время матери и сестры Тани, оно тоже было давно и напоминало о себе снимком на той же стене. Потом началось время фабрики, и с тех пор все пошло колесом. Адамчик перестал понимать время.

Адамчик звонил у двери. Ему долго не открывали, и тогда он стал стучать. Он стучал ногами и руками,

сидел на окне и снова стучал. Пришла соседка, удивилась:

— Вы же переехали!

— Куда? — спросил Адамчик.

Соседка посоветовала:

— Сходи в жакт!

В жакте паспортистка грозно улыбалась:

— Пришел, шалопай! Мать не жалеешь, замучил совсем! Куда выехала? Так она же с тобой разъехалась. Ты же в общежитии живешь!

— Ничего не понимаю! — сказал Адамчик и выбежал на улицу.

Он хотел есть и зашел в гастроном. Ленивой походкой прошел он вдоль прилавков, подмигивая молоденьким продавщицам. Продавщицы презрительно фыркали. В кондитерском отделе над горкой конфет в блестящей разноцветной фольге стояла крупная цифра. Адамчик выбрал чек и сказал продавщице:

— Самых дорогих!

Девушка, ссыпая конфеты в кулек, поджимала губы

В конце вечерней смены Адамчик пробрался в цех, выждал, пока все уйдут, и развалился на куче лыка. По радио передавали джаз, Адамчик покачивал ногой, глядел в потолок, давил между пальцами теплые конфеты, набивал полный рот и медленно глотал пахучий шоколад. Потом он подмигнул неподвижной стрелке на сигнальном щите, повернулся на бок и уснул.

Утром уборщица долго удивлялась, глядя на Адамчика, спящего на желтом лыке среди разноцветных бумажек, сияющих драгоценными камнями.

3

В конце месяца был аврал. На конвейере работали по восемь часов. Начальник цеха ежедневно отчитывался о выработке. Белая стрелка на щите двигалась чуточку быстрее, и чуть чаще вспыхивали красные сигнальные лампы. Это давало десять лишних матрасов в день.

Адамчик прыгал между краями рамки не быстрее, чем обычно. Он даже успевал присаживаться на ящик из-под гвоздей. Тетя Вера сама встала к конвейеру и не ругалась, если осадка была неровная.

После работы Адамчик болтался по цеху, катался смеха ради на конвейере, дразнил старушек. Начальник цеха поймал его за руку, остановил, снисходительно посмотрел сверху вниз:

— Баклуши бьешь? А двадцать рамочек связать можешь?

— Могу, — сказал Адамчик и встал к прессу.

Он стремительно богател. После шести часов работы ему платили вдвое — сверхурочные и на несовершеннолетие.

— За молодость! — говорил, подмигивая, начальник цеха и дружелюбно притрагивался к плечу. Скоро он стал самым богатым человеком в цехе.

По ночам, лежа на куче лыка, Адамчик пересчитывал деньги и мечтал купить мотоцикл.

На переплете получился прорыв, заболела бригадир Клава. Рядом с Адамчиком мастер поставил большую девушку в платье с открытой спиной. Раньше она была ученицей, копошилась на верстаке. Адамчик смотрел на нее издали, замечал неловкие движения, мокрые, сплошь голубые глаза, придавленный носик. Адамчик фыркал: «Плакса!»

Девушка очень старалась, но у нее не получалось, не успевала. Прибегал мастер, сердито сопел, на ходу конвейера прибивал гвозди. Адамчик поглядывал искоса, болтал ногами, сидя на ящике.

Во время первого перерыва девушка села на ящик и стала разглядывать свои пальцы. Адамчик подошел сзади, увидел свежие кровяные мозоли. Он посмотрел на свои руки. На ладонях была гладкая блестящая кожа — профессиональная кожа матрасников. Руки девушки отказывались грубеть.

— А ты перевяжи лентой, — неожиданно посоветовал Адамчик, вместо того чтобы столкнуть девушку и забрать ящик.

— Да от этого только хуже, — вздохнула девушка.

— Не успеваешь? — спросил Адамчик.

— Нет, — сказала девушка, — почти успеваю. Только гвозди пока не успеваю. А ты почему две смены работаешь?

— А что делать? — похоже вздохнул Адамчик. — Мать из дома выгнала.

— Где же ты ночуешь? — спросила девушка.

— А здесь, в цехе. — Адамчик небрежно почесал в затылке.

— Нестриженый! — сказала девушка. — Хоть бы постригся! А почему она тебя выгнала?

— Да, говорит, хулиганю...

— А что она делает? — спросила девушка громко, чтобы слышали другие женщины.

— Не знаю, — тихо ответил Адамчик, — пенсию получает...

Вспыхнула красная лампа. Сквозь перестук молотков Адамчик с надеждой слушал, как перекатывается по конвейеру новость: «Адамчик в цехе ночует», «Ромку мать из дома выгнала...», «Что это за матери теперь...», «Начальному нужно сказать...»

Девушка не отставала больше до конца смены. Рамки подъезжали к ней с аккуратно вбитыми в борт гвоздями. Адамчик не успевал присаживаться на ящик.

Новость докатилась до конца конвейера, перескочила в конторку, и начальник цеха в пересменку сказал Адамчику:

— Что же ты молчал? Это же просто делается: вызовем и прописать заставим.

Мать пришла во время работы, долго кричала в конторке, начальник вызвал Адамчика, объяснил ему, что надо перестать хулиганить и начать уважать мать. Мать оставила новый адрес.

В комнате она сказала:

— Десятка в сутки, а то в цех ночевать пойдешь.

Адамчик сощурился:

— Трешка, а то снова начальник вызовет. Сошлись на пяти рублях.

На следующий день девушка по-прежнему отставала. Напрасно она вздыхала и поднимала над конвейером красные опухшие руки. Адамчик не смотрел в ее сторону. Он ждал, чтобы она заговорила, но девушке было не до него.

4

Адамчик бродил по галерее Апраксина двора, держался руками за карманы. В карманах пиджака лежали деньги. Он с презрением отворачивался от глупых манекенов, довольных своими пальто и

костюмами. Он давно уже мог войти в магазин, но не решался, стоял у входа. Люди выводили на улицу мотоциклы, оглядывались по сторонам, улыбались, как манекены, — счастливые, искали сочувствия. Подмигивали Адамчику, и он с готовностью улыбался. «Ну, — взбадривал он себя, — ну же!»

Он набрал полные легкие воздуху и нагнулся голову, чтобы нырнуть под арку, но в тот же миг кто-то положил руку ему на плечо. Адамчик оскалился. Перед ним стоял человек, чем-то похожий на начальника цеха, немолодой, полный, серьезный. Главное, в хорошем костюме — не выпивоха. Костюм успокоил Адамчика.

— По дешевке, — с ходу сказал человек. — Ничего не поделаешь, уезжаю в Воркуту. Давно уже стою, жду покупателя поприличней. Смотри, совсем новый.

Человек взял Адамчика под руку и подвел к мотоциклу, стоящему у края тротуара.

— Смотри, на ходу, с номером. Права у тебя есть?

У Адамчика заблестели глаза.

— Нет... — вздохнул он.

— Ну ничего, — успокоил человек. — Сдашь, получишь. Смотри, получишь. Смотри, пробег — всего полторы тысячи, только мотор приработался.

Он перекинул ногу через седло, ноги оказались длинные, в легких кожаных туфлях. Сидя нажал несколько раз педаль стартера. Мотор мягко затахнул на малых оборотах. Адамчик погладил теплое крыло.

— Выкладывай четыре, — спокойно сказал человек и слез с мотоцикла.

Пока Адамчик считал деньги, человек достал из кармана бумаги и протянул ему:

— Держи документы. Вот квитанция. Куплен в этом магазине...

Левой рукой он принял у Адамчика деньги и сам положил ему бумаги в карман пиджака.

Под ухом Адамчика взревел мотоцикл. Перед глазами качнулся светлый пиджак с голубым значком.

— Стой! — крикнул Адамчик и боднул человека в живот.

— Что ты! — сказал человек, хватаясь за живот. — А! Что?

— Вот... — сказал Адамчик, махая руками. — Вот... Там, где только что стоял мотоцикл, расположились по асфальту маленькие масляные пятна.

— Не уйдет! — уверенно сказал человек и стиснул Адамчику плечо. — Смотри! Он куда?

— Не знаю... — ватным голосом проговорил Адамчик.

— А, понял! Туда! — радостно крикнул человек и показал рукой в сторону улицы Дзержинского. — Бежим!

И кинулся вперед, расталкивая прохожих. Адамчик бежал следом, перед глазами мелькали новые кожаные подошвы. Подошвы удалялись.

На перекрестке человек легко развернулся, взметнулись голубые полы пиджака. Он промчался, выбрасывая далеко вперед длинные ноги, и махнул на бегу Адамчику рукой, подзываая к себе.

Когда Адамчик добежал до угла, человека уже не было видно.

— Эй, — крикнул Адамчик. — Человек!

Мелькали чужие розовые лица.

— Челове—е—ек! — кричал Адамчик.

Текло, смешиваясь с водой, молоко из разбитой бутылки. Голубое.

— Человек! А-а! Человек!!!

Нависал над плечом жаркий автобус.

— Челове—е—ек... — хрипел, замедляя шаги, Адамчик. По лицу текли, обжигая кожу, слезы и пот.

— Да стой ты, чудак!

Прохладными руками его держала нарядная обойщица Валя.

Из общежития рядом с фабрикой выходили нарядные девушки. Окружили Адамчика, засмеялись. Поправляли ему воротник рубашки, вытирали платочком лицо.

Адамчик молча вырывался, кусал губу, чтобы остановить слезы.

— Подрался, Адамчик, ну скажи! — приставала Валя. — Ну, не плачь, пойдем с нами в Русский музей.

Его подхватили под руку и потащили, смеясь.

— Пустите, ну! — Адамчик оскалился и ругнулся матом.

— Что ты? — испуганно спросила Валя. — При девчатах...

— Пустите... — шепотом сказал Адамчик и заплакал. Он вернулся к магазину. Постоял, кусая губы, перед аркой. Люди выводили на асфальт мотоциклы. Оглядывались. Счастливые искали сочувствия. Блестел металл. Фары ловили солнечные зайчики.

На асфальте подсыхали расплывшиеся масляные пятнышки. Адамчик кусал губы.

— Кореш, велосипед с моторчиком не надо?

Адамчик смерил подростка глазами. Мятые брюки, стоптанные сандалии. Подросток воровато оглядывался на прохожих, придерживая пиджак ладонью, будто держал велосипед за пазухой.

— По дешевке? — спросил Адамчик.

— За шестьсот, — радостно подтвердил подросток. Адамчик примерился и выбросил кулак. Удар пришелся точно в челюсть.

— Ой, — сказал подросток и закрыл лицо руками.

— По дешевке, по дешевке! — объяснил Адамчик, стараясь попасть в нос, в розовый кончик ладонями.

— В ухо дай, в ухо!

Вокруг собиралась толпа. Подросток отнял ладони от лица и заплакал. Дергался кончик носа, подрагивали большие уши.

— Бежим! — сказал Адамчик, хватая его за руку.

— Ты думал — я жулик, — оправдывался на бегу подросток, — а я не жулик, нет, вот увидишь. На мотоцикл коплю, немного осталось.

— Ты смотри, с рук не покупай, — мрачно посоветовал Адамчик.

Подросток, задыхаясь от волнения, вывел во двор велосипед. Крутил педаль. Моторчик затрещал на весь двор, синий дым поплыл к солнцу.

— Керосинка, — фыркнул Адамчик.

— Ракета, — поправил подросток. — Сорок миль в час. Только газ сразу не включай, передачу сорвешь.

Адамчик отсчитал деньги и вскочил в седло.

— Стой! — крикнул подросток.

Адамчик, не слезая с седла, осторожно оглянулся.

— Чего тебе?

— Купи зажигалку... Сорок.

— Давай, — сказал Адамчик. У подростка загорелись глаза. Адамчик оттолкнулся.

— Стой, — крикнул подросток. — Купи шарфик.

— Давай, — сказал Адамчик.

— Тридцать.

Адамчик запихнул полосатый шарфик в карман и сделал круг по двору.

— Стой, где ты работаешь? — кричал вслед подросток. — Как зовут?

— На мебельной, — крикнул Адамчик. — Роман!

— А я в Гостином, — кричал подросток. — Генкой зовут. Ге—е—енкой!

Отъехав немного, Адамчик остановился, слез с седла, потрогал провод, свечу, горячие ребра цилиндра. Зажигалка зажигалась, шарфик был мягкий, полосатый и заграничный.

— Ничего не понимаю, — буркнул Адамчик и затарахтел к дому, с удовольствием нюхая синий дым.

5

Вечерами на маленькой асфальтовой площадке около Медного всадника кружились бесплотные тени. Сливались в дрожащие круги спицы, тонко шуршали колеса. Тени сталкивались и разбегались, круто поворачивались и вились рядом, почти касаясь друг друга, как вечерняя мошкара.

Адамчик всматривался. Зыбким движением колес управляли смуглые литые ноги. Ноги сливались с педалями в стремительном коротком разбеге, легко взлетали вверх, на вилку руля, свешивались, безучастные, по одну сторону седла. Тени выпрямлялись, вскрикивали. Легкие машины становились на дыбы, опадали, прижимались к асфальту в опасных крутых разворотах. Это был пилотаж высшего класса.

Сырой ветерок от воды забирался под майку. Адамчик ежился, завидовал.

Он снял моторчик и стал тренироваться во дворе. Тяжелая дорожная машина падала, вырывалась из рук. Отказывалась сделать обычновенную маленькую восьмерку вокруг колеса. Адамчик научился падать через руль на руки, чтобы не разбивать лицо и колени. Ходил раскрашенный лазоревыми пятнами. К концу лета он научился делать маленький круг, сидя спиной к рулю. Вечерами разглядывал ноги, разминал мышцы. Ровные, смуглые от природы и от солнца, без единой царапины ноги властно опускались во сне на педали. Вертелся прозрачный диск. Свистели шины. Наклонялось тело — машина делала крутой разворот, как на треке. Адамчик метался во сне и падал в темноту.

Он пристроился в конце колонны, лениво, уверенно выезжавшей на площадку. По краям, у ограды сада, у набережной медленно плыли лица зрителей. Колебались светлые платья. Сердце Адамчика тревожно стучало. Восьмерки, повороты, крутые виражи. Делалось горячо внутри. Ноги плавно поднимались, перелетали на одну сторону, свешивались, сильные, безучастные.

Широкие круги спиной к рулю, резкие проходы перед чужим колесом. На площадке становилось

свободнее. Адамчику хотелось лететь. Он проносился мимо светлых платьев, прямой, гордый, раскинув летящие руки. Прислушивался к восхищенному шепоту.

Поворот почти под прямым углом. Впереди, на сиреневой скале, тяжелый коричневый всадник взлетел на огромном коне, выкинул руку, останавливая Адамчика.

Адамчик вскрикнул, откинулся назад и взлетел на дыбы. Внутри горело, рвалось, кричало. Он выкинул руку, чтобы уравновесить движение, и приближался к всаднику, приближался. Он смотрел на зрителей, победитель, герой. Внутри кричало так, как должны сейчас кричать светлые платья, спокойные ноги над цветниками.

Всадник повелительно качнул рукой. Качнулся сенат, опрокинулось розовое небо и придавило Адамчика к асфальту крутящимся колесом. Обожгло руки. Над головой просвистела машина.

Адамчик приподнялся на локтях, обвел взглядом светлые платья. Никто не смеялся.

Он ушел подальше, к набережной. Злобно вдавил ногу в педаль. Пронесся мимо всадника, не глядя. Горело лицо. Ветер сушил маленькие злые слезинки. Легкие машины прошли гуськом. Бронзовые ноги лениво нажимали на педали. Адамчик согнулся над рулем. Равнодушно удалялись ноги, перетянутые ремешками. Адамчик оскалился.

Впереди, рассеивая свет, возникли четыре фигуры. Адамчик откинулся. Поздно. Беззащитные руки взлетают косо. Нельзя. Адамчик резко бросил тело в сторону.

Теплые ладони, темные руки, черные лица, белые воротнички. За спиной уже свистели. Черные безволосые лица. Белые улыбки.

Милиционер вежливо взялся за разбитый локоть Адамчика. Перед глазами бабочкой вспорхнула квитанционная книжка. Адамчик оскалился.

Черные люди засмеялись.

— Руски молодец, кхарашо! — сказал один. — Жантый гар!

— О, не, не, — сказал второй, — нон, не нада, пожалуйста, — и показал милиционеру, чтоб тот спрятал книжку.

— Вас понял! — сказал милиционер и отошел в сторону.

Адамчик осторожно оглянулся.

— Вит, вит, вело! — Черный человек помахал в воздухе руками, показывая, как нажимают на педали. — Работа, рабочи?

— Да, да, — Адамчик улыбнулся и закивал головой. — А вы кто? Кто? — Он ткнул пальцем в черный пиджак человека.

— О, мы — СЮТ, Африк, Африка! — ответил черный человек. — До свидания.

Все черные люди пожали по очереди руки Адамчика.

Адамчик медленно пошел сзади. У клумбы стоял милиционер.

— Кто они? — спросил Адамчик тихо.

— Чего тебе? — сказал милиционер.

— Ну, кто эти ребята, негры?

— Ребята, — милиционер засмеялся. — Это министры, а не ребята...

— Министры... — пробормотал Адамчик. — Они же молодые...

— Вот и молодые, — обидно сказал милиционер. — Не то что шалопаи. Жмут на педали и по сторонам не посмотрят.

Министры входили в вестибюль «Астории».

— Ничего не понимаю, — прошептал Адамчик, глядя им вслед.

6

— Кореш, стой.

Адамчик оглянулся. У ворот фабрики стоял Генка, пряча воротник вздрагивающие уши.

— Привет!

— Привет.

— Пошли?

— Пошли.

— Хана, — сказал Генка. — Все.

— Купил мотоцикл? — спросил Адамчик.

— Хана, — вздохнул Генка. — Обчистили. Позарился на дешевку.

— С рук покупал?

— С рук... — вздохнул Генка. — Все, заметано. Люди — гады.

— Гады, — согласился Адамчик.

— Слушай, продай зажигалку...

— Какую? — спросил Адамчик.

— Ту самую.

— Бери, — согласился Адамчик.

Генка отсчитал деньги.

— Слушай, — сказал он, — купи кепи.

Адамчик потрогал заграничную подкладку.

— Восемьдесят.

— Давай...

Свидания назначали в день получки, в садике при Адмиралтействе, у фонтана.

— Купи ремень! — говорил Генка. — Купи цепочку. Продай кепи. Купи пистолет.

Пистолет оказался воздушный. Стрелял пульками, как ружья в тире.

Адамчик с первого выстрела разбил фонарь. Стекло приятно звенело на асфальте.

— Продай пистолет! — попросил Генка.

— Не продам! — ответил Адамчик и нацелился Генке в глаз.

По дворам ходили вместе. Стреляли по очереди. Стекла разлетались по-разному. Лучше всего оказалось стрелять сбоку, вскользь. Стекло вылетало начисто. Но это было трудно, пули часто попадали в переплет.

Распахивались окна. Стучали двери. Сверху не опасно кричали.

— У—у—у! Эх! — отвечал Адамчик.

Генка вторил:

— Гады—ы—ы! Эх!

Приятнее всего было убегать. Жизнь была веселая.

— У—у—у! Эх! Эх! — кричал на конвейере Адамчик.

С другого края надрывалась тетя Вера:

— Осадка, ровнее! Буду рамки снимать!

— Тетка Верка, купи зажигалку! — кричал Адамчик. — Продай зуб!

Свидания по—прежнему назначались у фонтана. Адамчик приходил раньше от нечего делать. Бегал вокруг фонтана, чтобы согреться. У скамеек ползали разноцветные дети. Адамчик останавливался, смеялся.

— Не трогай, пожалуйста, моих чертежей, — попросил его тихий голос.

Адамчик посмотрел вниз. Он стоял на круге, похожем на велосипедное колесо.

— Это не я первый сказал, — объяснил толстый мальчик в сером пальто. — Это в древности сказал Архимед.

Адамчик прыгнул в сторону, глядя на розовые щеки. Черные глаза мальчика виновато мигнули.

— А что это? — спросил Адамчик.

— Это — очень интересная теорема, и я пытаюсь ее решить, — объяснил мальчик.

— Получается? — спросил Адамчик.

— Пока нет. Хочешь мне помочь? Из точки А к центру окружности проведена прямая...

Мальчик нагнулся со скамейки и показал резной палочкой радиус на чертеже.

— Стильная трость, — сказал Адамчик. Мальчик поднял глаза и виновато улыбнулся. — Прости, ты что—то сказал?

— Где тросточку достал?

— А-а, я вырезал ее сам. Тебе нравится?

— Да, — сказал Адамчик. — А у меня есть пистолет. Вот...

Мальчик подержал пистолет в руках.

— Воздушный, — сказал он. — На десять метров бьет точно в цель.

— У тебя есть?

— Нет, — виновато признался мальчик.

— Купи, — неожиданно предложил Адамчик.

— Видишь ли, — сказал мальчик, — у меня нет денег, я ведь еще не работаю, и потом, я не знаю, что с ним делать.

— Стекла бить, — подсказал Адамчик.

— А зачем бить стекла? — смущаясь, спросил мальчик. — Ведь сделать стекло трудно — я был на экскурсии на заводе. И еще, когда я нечаянно разбил форточку, в комнате было очень холодно... А ты уже

работаешь?

— Давно, — сказал Адамчик. — Продай тросточку.

— Возьми, пожалуйста, — сказал мальчик. — Я сделаю себе другую.

— За так? — спросил Адамчик.

— Я тебе дарю, в честь знакомства, — сказал мальчик. — И, прости пожалуйста, я очень тебя прошу: не бей, пожалуйста, стекла. А теперь до свидания. Я дежурю по кухне. Надо разогреть ужин.

— Сам стряпаешь? — крикнул вдогонку Адамчик.

Мальчик остановился и объяснил:

— Мы стряпаем по очереди: неделю папа, потом мама, потом я. До свидания.

Мальчик улыбнулся и махнул рукой.

— Ничего не понимаю... — сказал Адамчик, размахивая резной тростью.

— Эй, стой!

От калитки бежал Генка. Он запыхался. Уши таинственно дрожали.

— Слушай, — сказал он, — продай пистолет. Ведьму нашу на работе хочу напугать.

— А зачем? — спросил Адамчик.

— Ну, ведьма, — объяснил Генка. — Надо ее попугать. Стильная тросточка... Продай?

— На пистолет, — сказал Адамчик, размахивая тросточкой.

— За сколько? — спросил Генка.

— Ни за сколько, — объяснил Адамчик. — За так. В знак... знакомства. А теперь до свидания. Стекла только не бей... без меня.

— Стой! — крикнул Генка. — Купи портсигар!

Адамчик надвинул Генке на лоб иностранную кепку:

— Эх ты, уши...

7

После восьми вечера по улице Дзержинского ходят девочки. Прозрачными стайками перелетают с тротуара на тротуар и весело пищат. Адамчик притаился в проезде у фабрики.

Девочки вылетали на свет, останавливались, шептались, осторожно поглядывали в темноту, делали глазки — кокетничали сами с собой.

Адамчик думал, что с ним, и поправлял шарф. Потом догадался, что стоит в тени, вышел под фонарь. Девочки перестали останавливаться. Они проносились мимо молча и только потом немного смеялись, а иногда и оглядывались.

Адамчик поправлял шарф. Девочки убегали.

Наконец две девочки остановились рядом с ним и стали по очереди завязывать шнурки. Одна загораживала от прохожих другую. Одна была беленькая, другая — рыженькая. У одной была синяя вязаная шапочка, у другой — красная.

Адамчик помахал рукой. Девочки хихикнули.

Когда он поравнялся с ними, девочки подняли головы и внимательно посмотрели ему в глаза. Он

остановился, а девочки медленно прошли вперед, так медленно, что Адамчик двинулся следом.

Девочки шли быстрее, Адамчик разгонялся. В глазах мелькали шапочки. Девочки останавливались в тени, и Адамчик проскакивал вперед. Девочки смеялись и догоняли его. Шли сзади. Ему казалось, что они дышат и шепчутся под ухом. Оглядывался. Девочек не было. Впереди раздавался смех. У него кружилась голова. Он хотел догнать шапочки и стукнуть. Нет, даже не стукнуть. В ушах рассыпался смех.

Сворачивая во двор, девочки помахали Адамчику. Он долго еще стоял во дворе, но смеха больше не слышал.

Тогда он вышел и стал читать газету. В глазах прыгали жирные черные слова: «тунеядцев—паразитов», «арестованы».

На улице стало очень плохо, но Адамчик не знал, куда пойти. Хотелось кого-нибудь стукнуть — просто так, ни за что.

— Газетку читаешь?

Адамчик оглянулся. Лучший обойщик Юрка, взрослый и красивый, приятно улыбался.

— Плохое настроение, малыш?

Адамчик кивнул.

— А у меня хорошее, — похвастался Юрка. — У меня всегда хорошее, правда? Пойдем к Яше, поставлю стаканчик!

— Да не хочу! — сказал Адамчик, но Юрка взял его под руку и повел.

— Ты не читай газеты, — говорил по дороге Юрка. — Я так совсем не читаю, чтобы настроение не портить. Вечно кого-то ругают. Читаешь — будто сам виноват.

— Новенький, — сказал Яша, наливая в стаканы портвейн. — Первый раз вижу.

— Это наш, — объяснил Юрка, — Адамчик.

— Ну, что ж, доброго пути! — сказал Яша, подвигая стаканы. — Будем встречаться лет двадцать, если не случится войны.

Адамчик выпил портвейн и поморщился.

— Не нравится? — спросил Юрка.

— Не люблю, — признался Адамчик.

— А я люблю, — сказал Юрка, поглаживая горло. — Что у тебя такая кислая морда?

— Не знаю... — сказал Адамчик.

— Наверно, от природы. Все люди от природы или веселые, как я, или кислые. Хоть на улице посмотри. Одни идут улыбаются, другие чуть не ревут.

Юрка заказал еще стакан и выпил, глядя на Адамчика.

— Везет мне, малыш, — весело сказал он. — Уж так везет, только не умею пользоваться. В тот месяц двенадцать матрасов поднял, по три часа работы. Посчитай, сколько, если по восемьдесят.

— Девятьсот шестьдесят! — сообщил Адамчик.

— Вот именно! И работы такой — сколько хочешь!

— Халтура... — мрачно сказал Адамчик.

— Ну, я не брезгую. И девки меня любят. На той неделе пять адресов записал, сейчас к одной пойду.

— Беленькая? — спросил Адамчик.

— Наоборот, черненькая. А ты беленьких любишь?

— Не знаю, — сказал Адамчик. — Никаких...

— Так и знал, что кислятина, — сказал Юрка. — Ну, ладно, пока молодой, дело поправимое. Давай руку.

Он обхватил запястье Адамчика пальцами, нащупал пульс и объяснил:

— У меня импульсы. Сам Куни сказал. Я ему матрас поднимал. Вот сейчас скажу, что ты думаешь... Так, погоди, что-то не улавливаю...

— А я не думаю, — сказал Адамчик.

— Так ты давай думай, а то не получится! — Юрка крепче сжал Адамчику запястье и наклонился, будто прислушиваясь.

— Не получается, — вяло сказал Адамчик. — Ты другое обещал.

— А, развеселить! Ну, давай. Смотри мне в глаза!

Адамчик смотрел на хитрые Юркины глаза, на лоб с залысинами, на сочные губы. Захотелось стукнуть, как на улице.

— Ну, чувствуешь что-нибудь? — спросил Юрка. — Да смотри мне в глаза! Улыбайся. Ну, чувствуешь?

— Ничего не чувствую, — сказал Адамчик. — Пусти.

8

Адамчик молчал. Кричала с дальнего конца конвейера тетя Вера, но он все равно молчал. Пружины качались, немо разевали рты. Низенькие, высокие, кривые, прямые пружины уползали в красных вспышках сигнальной лампы, и Адамчик набрасывался на следующие.

— Осадка! Ромка! С ума спятил! — надрывалась тетя Вера.

В перерыве она, подбежала к Адамчику, хрипела, махала руками, молча грозилась. Наливалась краснотой — вот-вот лопнет. Адамчик зло щурился.

— К начальнику пойдешь! — выдавила тетя Вера и убежала, возмущенно тряся головой.

— Что ж ты, парень молодой, сильный, и так не творчески работаешь? — сказал начальник цеха.

Адамчик смотрел на кошку. Кошка нюхала арифометр.

— Не понимаю тебя, — говорил начальник цеха. — То стараешься, а то из рук вон. Что с тобой происходит, скажи на милость?

Кошка терлась боком об арифометр. Адамчик засмеялся и сказал:

— Не знаю.

— А кто же за тебя знать будет? — спросил начальник. — Что же ты смеешься? Я с тобой как со взрослым разговариваю.

— Ничего, — сказал Адамчик. — Кошка...

— Ну, что мне с тобой делать? — спросил начальник.

— Ничего, — подсказал Адамчик, глядя, как кошка трогает лапой карандаш на столе.

— Ничего—ничего, — сказал начальник. — Вот переведу в подсобники, так по—другому заговоришь.

— Не переведете, — успокоил его Адамчик. — На конвейере стоять некому.

— Погоди—погоди, я до тебя доберусь, — угрюмо сказал начальник.

— Погожу, — согласился Адамчик.

Кошка на столе нюхала чернила и морщилась. Адамчик фыркнул.

— Ступай, дурохвост.

Тетя Вера шутя, но сильно стукнула Адамчика по затылку. Ему стало совсем весело.

— Тетка Верка, зуб выбью, — пообещал Адамчик и засмеялся. Жить снова стало смешно.

— Да постой ты, постой, дурень!

Адамчик остановился. Сунул руки в карманы пальто, качался на каблуках, строил рожи, пока тетя Вера не подошла.

— Слушай, Ромка, я с тобой по—человеческому, как мать... Пойми ты бога ради: каждый день мастера посылаем матрасы переделывать. Покупатели ругаются, а у меня сердце болит. Людям же на них спать! Да ты пойди посмотреть в магазине — плачут, а берут.

— Пойду посмотрю! — сказал Адамчик. — Тетка Верка — привет!

В магазине перед полосатыми прямоугольниками прыгали люди, махая руками.

Адамчик смотрел сквозь стекло витрины, улыбался. Люди трогали матрасы, качали головами.

— Все равно купишь, — ехидно сказал Адамчик, глядя, как человек стоит у матраса и чешет в затылке.

— Ой, какой хорошенъкий мальчик!

Адамчик поднял голову.

Молодая тетя с клетчатой сумкой смотрела на него, забавно улыбаясь.

— Почему ты такой хорошенъкий? — спросила она.

— Не знаю, — сказал Адамчик, улыбаясь, и подумал: «Не тетя, но и не девчонка».

— А я знаю, — сказала она. — У тебя хорошее настроение. Ты стоишь и не знаешь, что тебе делать, правильно?

— Правильно, — согласился Адамчик. — А ты чего тут делаешь?

— О! Какой смелый! Сразу на «ты». А если я старушка? А если я замужем?

— Не старушка, — сказал Адамчик, краснея.

— Не стесняйся, — сказала она. — На «ты» так на «ты». Я веселая. Конфетку хочешь?

Она вынула из сумки горсть конфет в блестящих разноцветных бумажках, высыпала Адамчику в карман.

Адамчик уставился на белые остроносые туфли и не знал, что делать дальше. Она жевала конфету и давилась от смеха.

— Ну, что теперь будем делать? Я ведь не просто так сюда пришла.

— А зачем? — спросил Адамчик.

— Вон за той полосатой штукой! — она махнула рукой в сторону витрины.

— За матрасом, — понял Адамчик.

— Вот именно, — сказала она, любуясь его шарфиком. — Вы артистка? — спросил Адамчик, глядя на легкую шубку.

— Вот и не угадал, — сказала она. — Артистка такое страшилище покупать не станет. У нее больше вкуса и больше денег.

— А кто вы? — спросил Адамчик.

— Я философ, — сказала она. — Только ты не пугайся. Я веселый философ. Ну, пошли.

Она долго ходила в задумчивости у матрасов, потом тронула Адамчика рукой в перчатке за рукав:

— Как тебе нравится вот этот бегемот? У него хоть полоски зеленые, а?

Адамчик потрогал матрас и сказал:

— Нет, это брак!

— Ты уверен? — спросила она, поглаживая Адамчика по рукаву. — А вот этот?

Адамчик потрогал и поморщился.

Она вопросительно вскинула брови и, увидев, как Адамчик морщится, тоже поморщилась.

Они ходили от матраса к матрасу, смешно морщились и смешно смеялись, понимая друг друга.

— А ты, я гляжу, специалист! — сказала она.

— По браку, — ответил Адамчик.

— Ой, он остроумный! — Она поправила Адамчику шарф. — Ну, вот этот, наконец?

— Можно, — сказал Адамчик, потрогав туго натянутое полотно.

— Страшный какой крокодил... — сказала она, кусая губы.

— Зато крепкий, — уверил Адамчик, — На нем можно с ногами?

— Можно.

— И думать на нем можно?

— Можно, — сказал Адамчик.

— В самом деле остроумный! — рассмеялась она. — Теперь разделим обязанности: я плачу, а ты несешь. Согласен? Тут два шага.

— Согласен.

Адамчик подхватил матрас и взвалил его на спину, как грузчик на фабрике.

— Идем, — скомандовала она, — Туда, туда, потом сюда, а потом туда. Донесешь?

— Донесу, — сказал Адамчик.

Она шла быстро, резко махая клетчатой сумкой, Адамчик еле поспевал.

— Тяжело? — спрашивала она. — Отдохни. У, какой некрасивый! У меня даже настроение испортилось. Натянут криво, гвозди торчат. И кто их только делает? Наверное, страшно злые и ленивые люди, а? Ты не устал? Сейчас придем. Сюда, во двор.

— А теперь самое трудное, — говорила она, придерживая дверь. — Теперь на пятый этаж. Философы теперь живут на чердаках. Донесешь?

— Донесу, — сказал Адамчик хриплым голосом.

— Представь себе, что ты — Иисус Христос, — говорила она, поднимаясь впереди. — Ты несешь свой крест. А вокруг тебя римляне, иудеи. И ты... Не устал?.. И ты несешь его на Голгофу (это гора), а они тебя бьют, смеются над тобой, издеваются. А потом... а потом они распнут тебя... на кресте, то есть на этом крокодиле, распнут меня на этом полосатом... Ой, я болтаю. Хочешь, отдохни. Нет? Ну, тогда неси... неси свой крест, мой хорошеный мальчик с улицы... в красном шарфике...

«Красивая... — думал Адамчик, глядя, как под шубкой плавно переливаются высокие бедра. — Надо адрес записать».

— Стоп, — скомандовала она. — Поставь к стене. Устал, бедненький. — Она сняла перчатку и погладила Адамчика по лицу. Достала из сумки сладко пахнущий платочек, вытерла ему лоб. Потом позвенела ключами и распахнула дверь. Адамчик заглянул в темный коридор.

— Ой, нет, сюда не надо, — торопливо сказала она. — У нас тут страшно. И где-то должна быть своя рабочая сила. Сила, эй! — крикнула она в коридор. — Приехал матрас!

Вдали хлопнула дверь.

— Ой, — сказала она и застучала каблуками в темноту. Адамчик слышал, как она остановилась, и какой-то невнятный шепот, шелест. На площадку вышел сильный парень с гладкой короткой прической, взглянул вопросительно на Адамчика, неумело подхватил матрас за край и поволок его в темноту.

Дверь захлопнулась.

9

— Ромка, в лыжную секцию хочешь? Будешь играть в шашки? Пойдешь с нами в театр музкомедии?

Почти каждый день подходит к нему обойщица Валя, всегда с блокнотом и карандашом в руке. Спрашивает официально. Она теперь комсорг цеха.

— Ну, а пойду, так что? — спрашивает Адамчик.

— Ничего, тогда запишу, — говорит Валя, размахивая блокнотом.

— Ну чего ты ко мне пристала? — кричит Адамчик, пытаясь ущипнуть Валю. — Запиши меня целоваться!

— Да не умеешь, мокрохвостый! — сердито отвечает Валя и убегает, размахивая блокнотом.

— Ухаживает она за тобой! — смеется бригадир Клава. — Смотри, Ромка, женит на себе.

— А пусть! — говорит Адамчик. — Я согласен.

— Да она грамотная, — смеется Клава, — в школу ходит. Она на тебя, неучка, и не посмотрит.

— Посмотрит, — говорит Адамчик, — вот увидишь!

И ходит провожать Валю от проходной до общежития — три минуты шагом, одна бегом.

— Хочешь, Валь, в школу запишусь?

— Мне-то что — записывайся. Сам умнее будешь.

— А хочешь, поцелую?

— Иди, козявка!

— Валя, а что ты в школе проходишь? А скажи что-нибудь умное?

— Знаешь, как эта улица раньше называлась?

- Нет...
- Гороховая...
- Ага...
- Ромка, получишь по рукам. А какой литературный герой здесь жил?
- Скажи.
- Здесь жил Обломов.
- А что он делал? Он у нас работал?
- Ой, Ромочка... Он был барин, а фабрики тогда еще не было.
- Барин... А что он делал?
- Ничего. На матрасе лежал.
- Он думал?
- Нет, кажется, не думал. Просто лежал.
- Валь, а хочешь, я тебе мысль скажу? Знаешь, для чего у человека ногти?
- Нет...
- Для молотка. Чтобы бить. И чтобы не больно.
- Ромочка, как же не больно, когда больно?
- Хитрая, а если бы ногтей не было? Тогда еще больнее...
- Ой, Ромочка, голова садовая... Умница ты моя...
- И Валя гладит Адамчика по голове — совсем не так, как он хочет, обидно.
- Ну, как? — спрашивает на конвейере Клава. — Присох?
- Отстань! — кричит Адамчик. — Стукну!
- Ромочка, мы идем добровольно сдавать кровь! Тебя записать?
- Записывай! — сказал Адамчик.
- В Институте переливания крови белые стены пугали. Пугала тишина.
- Ой, Ромочка, боюсь! — шептала Валя.
- Ничего, не бойся, — успокаивал Адамчик. — Видишь, написано: безвредно для организма.
- Женщина-врач выслушала Адамчика и измерила давление,
- Молодец! — сказала она. — Только почему ты такой худой? Мама не кормит?
- Кормит... — сказал Адамчик. — А худому нельзя?
- Отчего же нельзя — можно, — сказала врач. — Вот давление у тебя низковато для возраста.
- Бегаешь много, мало спишь?
- Мало, — признался Адамчик.
- Почему? — спросила врач.
- А я думаю, — сказал Адамчик. — Мысли по ночам появляются.
- Появляются... — Врач улыбнулась. — Ночью надо спать, а не думать. От этого кровь портится...

Может быть, не будем сегодня, в следующий раз, а?

— Давайте сегодня, — сказал Адамчик. — Я хочу.

— Кто первый? — спросила сестра в марлевой повязке на лице.

Девушки смущенно зашептались. Адамчик увидел, как ему подмигнула Валя, и шагнул вперед.

Он лег на жесткую кушетку, просунул руку в круглое окошко. Скосив глаза, увидел, как сестра охватила руку жгутом. Адамчику стало не по себе от прикосновения жгута. Он увидел холодные внимательные глаза сестры над рукой, шевельнулся.

— А где тот человек, которому кровь?

— Спокойно! — сказала сестра. — Сжимай руку, разжимай... Вот так. Человека нет.

Стеклянная колба медленно наполнялась красным. Кровь поднималась от деления к делению, и колба постепенно становилась сизой.

«Как комар», — подумал Адамчик и засмеялся.

Он вышел, держа на виду забинтованную руку.

— Страшно? — спросила Валя.

— Нисколечко, — сказал Адамчик. — Как комар укусит! Не бойся. Только кровь не человеку, а в бутылку.

Внутри было легко. Немного кружилась голова. Потом всем выдали талоны на обед. Адамчик шел впереди, подпрыгивал.

— А кому эта кровь? — спросил он Валю.

— Кто заболеет, — объяснила Валя.

— А кто заболеет?

— Ну, любой человек.

— Совсем любой?

— Твоя кровь всем подходит, — сказала Валя. — Врачиха говорила.

— Любому человеку?

— Отстань, Ромка, любому.

— И тебе?

— И мне.

— Здорово, — сказал Адамчик.

За столом он отложил ложку, откинулся на стуле, закрыл глаза.

— Ты что? — спросила Валя.

— Мутит. Спать хочу!

— Ромочка, ты поешь, пройдет, — говорили девушки. — Смотри, суп какой вкусный.

— Не хочу, — сказал Адамчик, — спать хочу.

Валя перегнулась через столик, приложила ко лбу жесткие прохладные пальцы.

— Ой, девочки, у него температура!

Прохладные пальцы скользнули по лицу. Адамчик открыл глаза.

— Ничего, порядок.

Хотелось, чтобы прохладные пальцы лежали на лбу, но Валя уже ела суп.

— Эх ты, герой! — сказала Валя.

Донорам полагалось два дня отгула. Один день Адамчик спал, другой думал. На третий день Валя ходила вдоль конвейера с бумагами в руке. Адамчик косился, осаживая пружины как попало.

Валя протянула листок:

— Держи, Ромочка, — благодарность. Институт благодарит.

— За что? — спросил Адамчик.

— За кровь!

— Ладно, — сказал Адамчик. — Обойдемся.

— Бери!

Листок с красными буквами дрожал перед глазами.

— Убери, ну! — крикнул Адамчик. — Нужна мне твоя бумага!

— Что, сорвалось? — спросила бригадир Клава.

10

— Друг! — кричит Адамчик у конвейера. — Эй, дру—у—уг! Эх, эх, друг!

До чего приятное слово — «друг». Как хорошо его кричать. Можно тихонько сначала и громко потом, можно сразу как рявкнуть: «Друг!» Можно петь: «Дру—у—у—уг!»

А вот и сам друг, как из—под земли: кепка с хвостиком, шикарное пальто, улыбается, а во рту нет одного зуба, и такое лицо — только у друга может быть такое лицо — нос башмачком, серые глаза, длинные ресницы — красивый друг! А как улыбается — рот до ушей. Хорошо. Эх, друг!

Другу надо показать ловкость. Пусть смотрит: вот как надо работать: гвоздики молотком раз—раз—раз, осадочки — пружинки одна к одной — ровненькие, и опять молоточком раз—раз—раз.

— Друг! — поет Адамчик у конвейера. — Дру—у—у—уг!

Какие у него теплые руки. А сильный какой! Две недели назад поступил в цех, а уже выполняет норму. Правда, Адамчик помогал ему, бегал от конвейера к ученическому верстаку, успевал и там и у себя. Чего не сделаешь для друга.

— Друг! Эх, дру—у—у—уг!

Начальник хитрый — нарочно ставит их в разные смены, и они работают за компанию по две смены и выполняют норму на двести пятьдесят процентов, и у них куча денег, и можно все триста, если не разговаривать. Но как же не разговаривать. Ведь они расстаются каждый день на целую ночь! А сколько надо рассказать!

— Слушай, друг, меня один кирюха обжул, когда я мотоцикл покупал!

— А у меня есть мотороллер.

— Друг, видишь, Юрка пошел? У него импульсы!

— А у меня папа офицер. Полковник.

- С погонами?
- В отставке...
- А мы с одним корешом били стекла из пистолета.
- А я — из духового ружья. Потом бросил — жалко.
- И я бросил. А тетка Верка хорошая, когда не кричит!
- А начальник?
- Начальник тоже ничего мужик! Дает заработать.
- Ты читал «Бумеранг не возвращается»? Прочти, мировая книжка.
- Я тут с одной познакомился — мировая девочка!
- Замужем? Тогда плохо. У меня девочка — во!
- Познакомишь?
- Спрашиваешь! Между прочим, у нее подруга. Тоже ничего.
- А у меня кровь любому человеку подходит! И тебе. Вот если бы ты разбился, тебе бы мою кровь перелили. У нас бы и кровь была общая. Здорово?
- Спрашиваешь!..
- Друг, друг, эй, Дру—у—у—уг!
- Друг ждет на морозе в проходной.
- Друг катает на мотороллере. Дает порулить.
- Друг стоит рядом и заглядывает в лицо и улыбается, у него такие сильные теплые руки.
- И вот эта молния, что висит над верстаком. Она про кого? Про него и про друга. Это они выполняют норму на двести пятьдесят процентов и могут на все триста, если не разговаривать. Но как же не разговаривать?
- Друг, а странно, что я тебя раньше не знал! А здорово, что мы тут вместе оказались? Правда?
- Спрашиваешь...
- У друга разряд по самбо.
- Друг в воскресенье устраивает свой день рождения. Родители в Сочи. Квартира свободна, если не считать соседку. Злая старуха!
- 11**
- «...Мария, Мария, Мария...»
- Качается перед глазами узкий черный носок ботинка. Это ботинок друга. А у друга перед глазами качается ботинок Адамчика, такой же черный и узкий, — вместе покупали английские ботинки.
- Адамчик в кресле, и друг в кресле. У обоих — сигареты между средним и безымянным пальцами. Дым бежит к высокому потолку.
- «Мария, Мария, Мария...»
- Друг, что же они не идут?
- Сейчас придут...

- Они какие?
- Моя беленькая. Похожа на колдунью. Видел?
- Спрашиваешь...
- Я ее знаешь как люблю!
- Как?
- Давно. Уже... три месяца. «Мария... Мария... Мария... а-а-а...»
- Как ты с ней познакомился?
- На пляже. Она грушу ела.
- А ты?
- А я подошел. — И все?
- И все.
- И все?
- И все.
- Здорово... А вторая какая?
- Рыженская. А кожа белая. Красивая — вот увидишь.
- Друг...
- Что тебе?
- Давай для храбрости выпьем?
- Давай... «Мама-йо-керо, мама-йо-керо...»
- Старуха, неслышно ступая мягкими туфлями, подходит к двери. Нагибается, смотрит. Из щели музыка, тихо.
- «...Мария, Мария, Мария...»
- Сидят в креслах, развалились, господа какие... Ногами качают. Ишь, ботинки, носы узкие... Курят. Курят!
- «... Мария, Мария... Мария...»
- Друг, чего они не идут?
- Сейчас придут...
- Девочек ждут, девочек... Подождем, дождемся. У, сопливка...
- Они какие?
- Моя беленькая. Похожа на колдунью... Видал?
- Спрашиваешь!
- Я ее знаешь как люблю!
- Как?
- Уже три месяца... «...Мария, Мария, Мария-а-а...» Любят... Ха-ха-ха-ха. Лю-убит...
- Как ты с ней познакомился?

— На пляже. Она грушу ела.

— А ты?

— А я подошел.

— И все?

— И все.

— Здорово... А вторая?

— Рыженькая. А кожа белая. Красивая — вот увидишь. «Ма—ма—йо—керо, ма—ма—йо—керо...»

— Они!

— Нет, старуха...

— Валерик! Валерик!

«... Мама—йо—керо, ма—ма—ма—а...»

— Ну, что вам?

— Выключи радио, у меня голова болит... О, вином пахнет...

— Ну и что? У меня день рождения!

— Смотри, отцу расскажу...

— Ну и говори! Звонок.

— Друг, они!

— Причесись!

— У тебя пепел на пиджаке...

— Порядок?

— Порядок. Друг, у меня руки потеют...

Старуха стоит у двери. У старухи злые глаза. Как она смотрит... как улыбается... как не хочет уходить.

— Здравствуйте...

— Здравствуйте...

— Знакомьтесь. Валя, Светка, Роман.

Рыженькая красивая. Еще красивей, чем Светка. Кожа белая—белая. Краснеет. Вся красная. Глаза голубые.

Одна шапочка синяя, другая белая. Белый пух. Боязно дотронуться.

— А мы где—то встречались...

— Правда? Хи-и...

Замолчали. Сматривает старуха. Злыми глазами сматривает старуха с гнилыми зубами. Улыбается.

Опустив головы, тихо—тихо мимо двери, на цыпочках. Как они покраснели. Друг уверенно кашляет. Старуха закрывает дверь.

Музыка теперь погромче.

«...Кирина консустрес...»

- Выпьем?
- Ой, много... Мама узнает. А у Вали братишка. А я еще анатомию не учила.
- Рома, Рома... Расскажи что-нибудь.
- А что?
- Что-нибудь... Какие у тебя брови красивые. Густые... У меня был один знакомый мальчик... Нет, теперь нет...
- «...Кирина, кири-и-на консултрес...»
- А я не умею танцевать... Друг немного учил.
- У глаз плывут рыжие волосы. Не то что рыжие — соломенные. Не соломенные — золотые.
- А у тебя волосы как... золотые.
- Да... Какие у тебя мягкие губы...
- Щекотно...
- Пусть щекотно, да?
- Да...
- Хочешь яблоко? Откуси...
- А теперь я...
- Прохладные пальчики. Скользят, скользят...
- У тебя лоб... теплый.
- Хорошо...
- Ой! Что там? Кто это там? Там!
- Стук за дверью... Грохот. Топот. Дверь открывается сама. Старуха. Старуха!!!
- Валерик, я так больше не могу!
- Ходи, ведьма! Не мешай жить! Уходи, ну!
- Валерик, так не разговаривают со...
- Убирайся! Ромка, помоги!
- Не надо, Валерик!
- Ничего, пусть остынет в прихожей!
- Пусть остынет, пусть остынет! Ха-ха!
- Вот видите! Дерется! Он дерется, дерется!
- Глухо, из-за двери:
- Отпусти руку, отпусти рук-у, а-а-а...
- Топот, толчки, будто по узкому коридору тащат матрас... Хлопнула дверь. Тихо. Тихо-тихо...
- Валя, что там?
- Валерку увели. Старуха и еще какие-то... С повязками. Рома, ты куда?
- Куда ты, Рома?

— Не ходи, уже увели... А вы что тут делали? А, Свет? А я знаю: вы целовались, целовались, да? Давайте музыку поставим! Ох, я пьяная, пьяная... Валерку увеличили. А мы музыку поставим! Пока нет старухи!

«...Мария, Мария, Мария-а-а...»

— Рома, потанцуем? Ты куда, Рома? Куда, а?

— Пусти, — сказал Адамчик. — Ну,пусти...

Он спускался по лестнице, а музыка играла.

12

Горела одна лампочка. Вдоль прохода лежали подушки. Подушки стояли, подушки сидели. Их было много.

Адамчик шел по проходу, а подушки все сидели, все стояли, все лежали стопками, горками, одна на другой. Адамчик пнул подушку и оглянулся. Сзади были подушки. И с боков. И впереди. Нарядные мягкие подушки для диванов. Для диванов-кроватей, для канапе, для кушеток, для лежанок. Для кресел-кроватей, для тахты. Подушки выставляли в проход мягкие локти. Подушки толкались.

И где-то за подушками, за горами, за стопами — вжик-тук. Вжик-тук. И еще: тук-тук.

«Гриша», — подумал Адамчик, расталкивая подушки.

Подушки падали мягко одна за другой, показалась голова Гриши и ухмыльнулась. Улыбнулась. Показались руки Гриши и верстак. Рамки.

Вжик — проволоку вдоль, натянул, согнул, забил. Тук-тук. Вжик — проволоку поперек — натянул, согнул. Тук. Вдоль-поперек. Вдоль-поперек. Решетка.

«Основа, — подумал Адамчик. — Ловко».

— Мувэ, — сказал Гриша, улыбаясь. — Лы-лы-ык... Ох-ох-ох...

— Все работаешь? — спросил Адамчик.

— Эдмуак. Ыга-аэ.

— Посидим, поговорим?

— Ээв-аяг...

— Закурим?

— Мыы-ны.

— Много заработал?

— А-ав, ам-мааны.

— Хорошо тебе?

— Аамма пиэммыы. Дыу-выы?

— Понял, друга забрали... А он ничего им. Он хороший. А они его.

— Эбуюу, — сказал Гриша и пошевелил ушами.

— Не веришь. Они тоже не верят. Там, понимаешь, старуха. Старуха, понял? Страшила. Она кричала и лезла. И мешала. Понял?..

— Ыыыннн, — сказал Гриша, улыбаясь. Вставил проволоку, вжик-тук. И еще одну — вжик-тук-тук.

— ...А он ее толкнул. А она там привела каких-то. Этих. Они ему руки закручивали, а он кусался.

Понял?

— Нууны, — сказал Гриша и сморщил лицо.

— А вот что теперь делать? Я все думаю, думаю... Думаю, понял?

— Э-ээак, — сказал Гриша. Вжик—тук—тук.

— И все думаю и думаю... Может, на другую фабрику пойти? На другую, понял? Может, там по—другому, а? Не так?

— Э-эээв нааэг мыын яявең зныыы, — сказал Гриша. — Охм вщ—вщ—вщю—ую. Дынн. Амаанхыы вафабибынбе. Ваа—выинн. Вза—выинн. — И он постучал себе пальцем по груди, выгинаясь, улыбаясь, радуясь.

— Ты молодец, — понял Адамчик. — Ты, Гриша, парень хоть куда. Счастливо оставаться.

— Юнуну—хии, — сказал Гриша, выпячивая губы, и похлопал глазами.

— Нет, — сказал Адамчик, — работай. Я пойду.

Он поднял подушку и положил ее на другие. Полушка закрыла верстак и рамку. Вторая подушка закрыла толстопальные руки Гриши. Третья закрыла его грудь. Над подушками торчала лопоухая голова Гриши. Она шевелила толстыми губами, дергала ушами, сводила брови и делала складки на лбу и на щеках. Губы мычали. Глаза хлопали.

Адамчик посмотрел на голову, поднял еще одну подушку и закрыл Гришу.

Вжик—тук.

* * *

На улице Дзержинского лежит туман. В тумане едет автобус. В автобусе качается от стены к стене большое сонное тело.

Тело дремлет. Его душа потягивается, легонько шевелится под мокрым потолком. Невидимая, там переливается неясная грусть. Прозрачная нежность слабыми толчками бьется в оконные стекла.

И доброе заспанное лицо, большое, общее, хранит на себе следы ночной уверенности в том, что тело едино, что у него одна голова, один разум и одно сердце.

Адамчик уверенно расталкивает ватные бока, пробираясь к выходу.

Должно быть, он толкается слишком сильно, потому что кое—кто поднимает голову, смотрит яснеющими глазами.

Еще не остановился автобус, а тебя больше нет. Расколотое, гудящее, оно торопливо втягивает в себя нежность и грусть, жалость к собственной слабости.

Автобус останавливается. Распахивается дверь. На улицу выходят пассажиры, становясь пешеходами, прохожими, возвращаясь в свой возраст.

Адамчик спрыгивает и бежит в тумане, шарахаясь от встречных, легко и бесшумно, как летучая мышь.

1964

ПЕСНИ НА РАССВЕТЕ

Сначала тени от людей достигли окопа, а тени от разрушенной мызы пересекли дорогу и легли на голенища сапог. Комары вылетали из дневных убежищ. Налетали, пронзительно звяня, сладострастно впивались в стриженые затылки и в загорелые шеи.

Затем головы человеческих теней ушли в кусты, тени тел растворились в частом иван-чае. Поднялся из-за кустов туман, переполз через проволочные заграждения, засыпал ямы и окопы, и теней не стало.

До атаки оставалось полчаса. Командир взвода разрешил курить. К отделенному Пашкову подошел рядовой Капустин, попросил свернуть цигарку. Пашков дал ему готовую цигарку. Его пальцы встретились в темноте с пальцами Капустина, и Капустину стало неловко за свою неумелость и за тонкие пальчики. А Пашков еще добавил: «Эх ты!..»

До чего же обидно, когда не знаешь даже такого дела, когда ночь впереди, бессонная, наполненная сыростью и комарами, когда не знаешь, как держать в руках топор, карабин, цигарку.

— Третье отделение, получать патроны! — негромко сказал Пашков.

Капустин первый протянул руку.

— Капустин, отойди. На вот, пулеметчиком будешь... — Он сунул Капустину деревянную трещотку.

«Опять пулеметчиком... А потом только и будет кричать: «Пулеметчик, огонь! Пулеметчик, огонь!» Будто, кроме пулеметчика, в отделении никого нет...»

В самой темной части неба, над мохнатой бахромой леса, возникла красная ракета. Она медленно взбиралась вверх, и все смотрели на нее и ждали.

И когда она, столкнувшись с невидимым препятствием, рассыпалась под звездами сочными брызгами, — «Взвод, в атаку, вперед!» — крикнул лейтенант таким торжественным и звенящим голосом, будто он делал это первый раз в жизни.

Заплескалась, зашуршала трава под ногами, и затрещали кусты.

С высоты выскочили юркие красные змейки. Загремело. Это «противник» открыл огонь. Снизу ответили оранжевыми вспышками.

— Пулеметчик, огонь!

Капустин крутанул трещотку. Звук получился жидкий, не похожий на очередь.

Пашкову показалось, что Капустин не стреляет, и он снова крикнул:

— Пулемет! Капустин, огонь!

«Будто я виноват, что это не пулемет...» Капустин пополз, скребя пуговицами гимнастерки по граниту, хватаясь руками за скользкий мох и редкие выступы. Защипало веки, тепло дыхания отражалось от камней, обдавало лицо, и оно горело.

Подтянувшись на руках, он нащупал пальцами твердый полукруг. Приподнял голову. Ногами к нему лежала, распластавшись на камнях, темная фигура.

Это был «противник» — Капустин понял это, но не знал, что ему делать дальше.

— Бах! Ба-бах! — шепотом сказала фигура. — Я тебя убил! Лежи тут и не двигайся.

«Ба-бах! Как в детстве...» — подумал Капустин и остался лежать, положив голову на руки.

Усталость настоящая, рукой не шевельнешь, а тут тебе — «ба—бах...».

Снизу раздался требовательный голос Пашкова:

— Пулеметчик! Огонь! Огонь!

Капустин вскочил и понесся по склону, крутя над головой трещотку.

— Ура—а—а! — нестройно закричали впереди.

— Ура! Ура—ура! — закричал и Капустин. И тут же свалился в окоп, а потом долго выбирался из него, ломая ногти о твердую глину.

Впереди, удаляясь, настойчиво звал Пашков:

— Пулемет! Пулеметчик, огонь!

Капустин несся скачками, глотая воздух раскрытым ртом, стараясь скорей добраться до того места, где командир отделения Пашков вдохновенно выкрикивает слова команды.

Вдруг стало тихо. Блеснул желтый свет над полем. На миг Капустин увидел удаляющуюся спину Пашкова и кинулся туда. А над полем разнесся глухой унылый голос:

— Га—а—а—зы!

И со всех сторон откликнулось: «А—а—зы!.. а—а—зы!.. з—з—зы—ы!..»

Капустин начал натягивать маску. В нос ударил запах прелой резины. Сразу запотели стекла. И без того — хоть глаза выколи... Дергает кто—то за рукав. «Пашков? Что ему еще от меня надо?»

Неслышино развернулись вокруг один за другим веера белого пламени, и земля дрогнула под ногами. Прокатился нарастающий гул. Это вихри раскаленных газов поднялись вверх, превратив землю и небо в дымное огненное месиво. Сзади протянулась огромная ладонь, уперлась в спину Капустина и неумолимо стала валить его, и обжигала, и прожигала тело насквозь.

Капустин рванулся вперед, нога не встретила опоры. Он падал, падал — плавно, его невесомое тело опускалось в черноту, растворяясь в ней.

Тихо и темно. Никого нет. Ни Пашкова, ни лейтенанта. Ни ребят. Ничего нет. Ни кустов, ни взрывов, ни деревянной трещотки. Значит, это было по—настоящему? Дышать трудно... противогаз...

Капустин стащил с головы маску. Холодный воздух влился в рот, потек по горлани...

Он открыл глаза. Луг, полого спускающийся к лесу, весь дрожал мелкой и ровной дрожью. Его поверхность светлела на миг и снова темнела. Коричневые узоры разбегались по лугу в разные стороны, завивались спиралью, и раскручивались, и сползались в середине, образуя клубок пересеченных линий, и разом растворялись в гаснущем мерцании.

Капустин посмотрел на небо. Плотная ночная синева не была спокойной. Сквозь лес проступали расплывчатые зеленые пятна и тотчас же поглощались синевой. Казалось, новый небосвод хочет пробиться на место ночного, а ночь не пускает, возмущенная необычным цветом этого небосвода.

Ночь колдовала на травах и на звездах, на рыхлых, похожих на простоквашу, облаках. Ночь колдовала для того, чтобы Капустину стало хорошо.

И он почувствовал небывалую легкость. Он поднялся и пошел по лугу, дивясь внезапному доброжелательству природы. Трава стала короткой и не цеплялась больше за ноги, а земля под ногами пружинила, подталкивала. Капустину показалось, что ноги двигались сами по себе, без всякого усилия. Он даже не споткнулся ни разу: пласти дерна, взрезанного танками, предупредительно поднимались над

травой.

Будто занавес взвился перед ним. Открылась поляна, ровный полукруг, обрамленный деревьями. По поляне медленно двигались пепельные фигуры, они двигались по воздуху — плавали над поляной.

Капустин спустился к ручью и чуть было не столкнулся с лейтенантом. Командир взвода стоял на берегу и задумчиво смотрел вверх. Он услышал шаги Капустина, глянул на него, но не сказал ничего, и опять поднял голову. А Капустин подумал, что и это в порядке вещей, что так и должно быть, хотя он, Капустин, заслуживал замечания от командира.

И стало стыдно за то, что выбилась из-под ремня гимнастерка, что распустилась скатка и торчит из сумки трубка от противогаза.

Он подошел к ручью, зачерпнул воду пилоткой и долго пил, ощущая вкус тины и ивой коры, пил, пока не почувствовал холод под лопатками.

Люди тихо ходили по поляне и разговаривали шепотом. Вокруг людей двигались деревья, мерно бежали слева направо и обратно, и тех, что были позади, обгоняли передние. В эту ночь и деревья должны были двигаться.

Капустин смотрел на небо и видел, что и оно участвует в этой игре. По-прежнему пропускали сквозь небосвод зеленые мерцающие пятна, но теперь более широкие, более четкие. Ему показалось, что не случайно ходят люди по поляне, не случайно смотрит внимательно на небо лейтенант. Все они ищут таинственную причину, ищут ключ, в котором сосредоточена чудесная сила, давшая жизнь этой ночи. И еще подумалось Капустины, будто ищут они напрасно и будто только он, Капустин, может отыскать ключ. И он должен сделать это, чтобы на деле доказать товарищам, что он не хуже их. Но тотчас же он отбросил эту мысль. Конечно же поиски волшебных причин никакого отношения к военной службе не имеют.

Капустин прислушался. Шелестели листья, сквозь них шелест журчал ручей. Капустин наклонился над водой. Может быть, здесь... Лицо обдало болотной прелью. Струи перепрыгивали через ветки и падали вниз со стеклянным звоном. Больше ничего не было. «Нет, не здесь!» — подумал Капустин. Поднимаясь от воды, он заметил на берегу слабое зеленое сияние. Оно исходило откуда-то из травы и не было заметно сверху. Капустин снова пригнулся. Явственно светились у воды травинки.

— Светлячок... — прошептал Капустин и стал подкрадываться к нему на цыпочках, зажав в руке пилотку. Это тоже напоминало детство: мальчик с марлевым сачком так и подкрадывается к пестрой бабочке, боясь ее спугнуть.

Он увидел небосвод крохотного мира, светящийся изнутри. В этом маленьком мире, на его земле и небе стояла ровная тишина. Его деревья — болотные травинки — пронзали небосвод и поднимались, невидимые, выше. Зеленоватое свечение исходило из центра, давало этому миру жизнь — и зеленело большое небо большой земли, мерцали травинки, и большие деревья начинали свой хоровод.

Капустин смотрел на безмолвную работу, совершившуюся в этом мире. В нем заключалось средоточие ночи, ее нежданная красота, ее бездонный смысл, ощущаемый десятками людей, затерянных на лесной полянке, ощущаемый всеми на земле, кто должен был не спать в эту ночь. Капустин поднял светлячка и пошел с вытянутой рукой на поляну. Все, кто встречался на его пути, говорили друг другу шепотом:

— Смотри-ка, светлячок...

На большом валуне сидел Пашков, охватив руками колени. Такой он был тяжелый, столько было в его крупном теле углов, что казалось — стоит посреди поляны один валун, а на нем никого нет.

Капустин подошел к Пашкову, и тот не удивился Капустины, не спросил его, куда он исчез во время

атаки, и даже не удивился светлячку. Он взял светлячка с ладони Капустина, положил себе на ладонь, и огонек на ней стал меньше. И опять подумал Капустин, что все происходит так, как надо, и что светлячка он нес специально для Пашкова, потому что Пашков знает, что с ним делать дальше.

А Пашков сделал что-то уж совсем странное. Он взял свой карабин, прислоненный к валуну, и вложил светлячка в ствол. Послушно сиял светлячок в стволе карабина, над мушкой возник прозрачный зеленый отсвет и лег на холодную сталь.

Подходили к Пашкову товарищи, наклонялись над карабином. Шевелили безмолвно губами, будто хотели сказать, что думают об этом, но не находили слов. — Становись! — крикнул лейтенант от ручья. С уханьем всовывали головы в скатки, гремели оружием, топали по мокрой траве.

Лейтенант отдал боевой приказ: овладеть лесом, окружить «противника» на «высоте с вышкой» и взять его в плен или уничтожить. Говорил он тихо, задумчиво, и от этого слова его приобретали особое значение.

Ничего в мире не было важнее этого приказа. Где-то в чаще лесной притаился противник. Он окопался на «высоте с вышкой». Нужно взять его в плен во что бы то ни стало или уничтожить, чтобы не было больше противников ни в лесу, ни в поле — нигде на земле.

Так думал Капустин. И каждый думал именно так.

— Взвод, в атаку, вперед!

И помчались, помчались меж деревьями, проринаясь сквозь чащу.

— Пулемет, огонь! — кричал Пашков, а Капустин крутил трещотку. Раздвигая ветки, он касался руки Пашкова и чувствовал себя спокойно. В лесу бежать было труднее, но Капустину казалось, что легче, потому что висела смирно на положенном месте лопатка, не резала плечо лямка противогаза и скатка, облегавшая наискосок тело, согревала его.

Выбежала цепь на межу маленького лесного поля. Затрепетали колосья, предчувствуя недобroe. Но напрасен был их страх: не сговариваясь, не дожидаясь команды, взвод свернулся в колонну и побежал по меже, огибая поле. Мокрый колос с размаху щелкнул Капустина по носу.

— Ничего-о... — пробормотал он и улыбнулся.

Бежал дальше, кричал «ура», крутил трещотку и улыбался все время.

Взвод наваливался на лес топотом, криками, выстрелами. Разбегались от шума кусты, освобождая дорогу, деревья приподнимали тяжелые ветви.

Лес внезапно опрокинулся. Взвод залег на дороге.

...Поползли, приминая упругие стебли, охватывали высоту невидимыми тисками. Капустин прижался вплотную к траве, вдыхал могучие запахи давно не паханной земли и все улыбался, улыбался, не зная чему.

Обогнули скалу, поднялся Пашков, махнул Капустину рукой: следуй за мной. Взбрались бесшумно по тропинке наверх. Спиной к ним сидел «противник» и мирно курил, окруженный светлеющими кольцами дыма. Он не ожидал нападения сзади и позволил Пашкову связать себя. Он смеялся тихо и говорил знакомым голосом:

— Вы взяли меня в плен. Вот я лежу и не двигаюсь.

С высоты Капустин увидел весь поселок — плоские треугольнички крыш и прямоугольнички стен, вздыбленные силуэты холмов и лесов, черное полотно шоссе с лентами кюветов.

Взвод собирался у офицерской столовой. Там уже спорили бойцы взвода с бывшими «противниками». Затеяли возню, подчиняясь желанию израсходовать как можно скорее избыток энергии. А ее оставалось еще так много!

В этот миг кто-то выстрелил из карабина оставшимся холостым патроном. И все остановились, оглянувшись вокруг, прислушались.

Круглый звук выстрела ударился о стену столовой, покатился к «высоте с вышкой», отскочил от ее каменною бока, помчался к лесу, и лес отбросил его к полковым складам. По огромному пространству раскатывался звук, цепляясь за все препятствия, встречавшиеся на его пути. Он удалялся, удалялся и застрял наконец в кронах сосен, что росли на берегу далекого озера, над лагерными палатками. Вздрогнул от этого звука застывший у грибка дневальный и понял, что кончились учения, а вместе с ними кончилась ночь.

Внезапно обнаружилась трехмерность предметов. Угловатые домики выбегали из тьмы, нацелив на шоссе косые срезы крыш, кюветы показали острое дно, мутное пятно у складов оказалось цистерной.

На прощание ночь осмуглала лица людей и оставила им на память о себе запах пота и лесной травы.

— Где светлячок? — спросил Капустин Пашкова. Пашков вывинтил шомпол и принялся шарить им в стволе карабина. Капустин смотрел напряженно и ждал.

— Нет светлячка! — сказал Пашков нарочито небрежно. — Убежал светлячок, выполз...

А Капустин не огорчился почему-то. Нет светлячка — и не надо. Пусть он лежит себе в траве и хранит свое чудесное свечение для тех, кто впервые пойдет в атаку будущей ночью.

Взвод построился на шоссе и двинулся к лагерю, вдавливая подошвы сапог в тяжелую пыль. Проходили мимо стрельбища, где одинокая береза протягивала по утреннему ветру тонкие веточки. Проходили мимо дома командира роты, и Пашков запел старинную песню о том, что началась война и что рабочему нужно бросать свое дело и подниматься на бой. Ему подтянул Капустин, и грянул следом уверенный припев, бодрый и смелый, молодой, как люди, шагавшие сейчас в ногу навстречу рассвету.

Жители просыпались в домах, но не сердились на солдат. Здесь привыкли к тому, что по ночам мужчины распеваются на дорогах свои боевые песни.

1958

КОЛОКОЛЬЧИКИ

Был последний день лагерных сборов. Мы убирали мишени после дневных стрельб.

Они стояли на мокром кочкастом лугу, белые прямоугольники с черными силуэтами посередине.

Солнце садилось, и небо заливали потоки сизых чернил. Может быть, так выглядит засыхающая кровь. Нам трудно судить об этом.

Под ногами чавкала гнилая земля. Она пружинила, шевелилась. Может быть, так пружинит под сапогами мертвое тело, засыпанное взрывом. Нам не приходилось ходить по мертвым телам. Может быть, они тверды, как железо, — мы не знаем.

Мишени стояли прямо, подпертые сзади кольями. Лишь одна, в полный рост, наклонилась. Нарисованный на ней солдат застыл в падении. Он упал в тот момент, когда его настигла пуля. Он был убит наповал. Две пули пробили его сердце, одна отлетела откуда-то рикошетом и попала в лоб. Трижды убитый, он застыл в падении. Он показывал нам, как падает солдат, которого убили в атаке.

— Это я стрелял! — сказал младший лейтенант Володя. Он подошел к мишени и закрыл пальцами раны на ее груди.

Нарисованный солдат покачнулся и тихо упал назад, навзничь.

— Наповал! — сказал младший лейтенант Володя. Мы молчали. Мы взяли мишень за углы и потащили ее в кучу, туда, где лежали другие. Мы старались не качать ее, мы несли ее плавно, а земля пружинила под ногами. Мы нашупывали кочки и впадины и осторожно обходили их. Так, наверное, санитары сносят в кучу после боя тела убитых.

Может быть, убитых волокут за ноги. Их головы подпрыгивают на кочках и проваливаются во впадины с глухим стуком.

Мы опустили мишень на землю. От нее пахло гнилым деревом и мучным клейстером. Край бумаги отклеился и слабо трепетал под ветром.

Младший лейтенант Володя наклонился над мишенью и вынул из пробоины смятую пулю.

— Моя работа! — сказал он, подбросил пулю на ладони и положил ее в карман гимнастерки.

— На память, — сказал он.

Мы убрали последние мишени, и луг стал таким, каким он был сто лет назад.

Луг, на котором пасутся коровы.

Луг, над которым жаворонки поют по утрам.

Луг, под которым буравят землю кроты.

Нам хотелось так думать об этом луге. Но все мы знали, что это не так. Потому что луг пересекали заросшие травой канавы. Раньше здесь было поле. На нем рос ячмень, а по канавам бежала вода. Потом канавы заросли травой, и на поле появились ямы.

...Может быть, от первого взрыва загорелся ячмень. И когда люди бежали по полю, под их ногами горели колосья. Люди падали на горячую землю.

Потом, когда взорвался последний снаряд, стали стрелять из винтовок и пулеметов. По земле стлался дым, и пахло паленой соломой. Люди падали и не вставали больше.

Одному из них пуля попала в грудь. Он бежал и не мог остановиться. Он шагнул еще раз. Вторая пуля ударила его. Она пробила левый карман гимнастерки. Но солдат бежал, он не мог остановиться и сделал еще один шаг. И тогда его ударила третья пуля. Она летела сбоку и пробила его каску. Она ударила его в лоб, и тогда он упал.

И стало тихо, так же тихо, как было вечером последнего дня лагерных сборов. Мы возвращались в лагерь. Под ногами шуршала короткая трава и хлюпала мокрая земля....А тогда шуршали под ногами обугленные колосья и журчала вода в дренажных канавах. Тот, кто убил солдата, вышел на поле. Он остановился перед убитым и посмотрел на его раны: две на груди, одна на лбу.

— Моя работа! — сказал он.

На поле пришли санитары, взяли за ноги трупы и потащили их в канаву.

Может быть, тот, кого трижды убили в том бою, до сих пор лежит в канаве, и когда мы возвращались со стрельбища, его кости гнулись и трещали под нашими сапогами.

А может быть, в том бою никого не убили трижды. Может быть, на каждого убитого хватило по одной пуле. Но здесь был бой. Здесь стреляли из пушек, а потом из винтовок и пулеметов. Здесь убивали людей.

— ...А здорово я его! — сказал младший лейтенант Володя.

Он мог гордиться. Никогда еще он не стрелял так хорошо, как в последний день лагерных сборов.

Уже было сине вокруг. Было синее небо и синий луг. Был синий лес впереди, а за ним синие сосны над синим озером. И синие палатки над соснами.

Но то, что синело перед нами, было ярче синевы неба, плотнее синевы луга, холоднее синевы озера.

Младший лейтенант Володя побежал туда, где было синее пятно. Мы побежали за ним, спотыкаясь на кочках, проваливаясь во впадины.

У колес пушки, замаскированной фашистами, рос куст колокольчиков. То были странные колокольчики, великаны в своей колокольчиковой семье. Пять лепестков, крепко сросшихся, четыре белых стрелы и толстый язычок в середине.

Они распустились в последний день лагерных сборов. Раньше мы их не видели.

Мы нарывали по охапке синих цветов. Мы несли их в руках и не знали, что делать с этой красотой, нечаянно попавшей нам в руки. Если бы нам встретились девушки, мы подарили бы колокольчики им.

— А если их в банку поставить, они не завянут до утра, нет? — спросил вдруг младший лейтенант Володя.

Вероятно, ему очень хотелось отвезти цветы домой. Вероятно, ему было кому дарить цветы в городе. А нам было еще некому, и мы сказали:

— Ну конечно!

Мы остановились у колодца и пили студеную воду из ведра, когда горнист заиграл в лагере отбой.

Мы бросили колокольчики в лужу у колодца, и только младший лейтенант Володя поднял один цветок и воткнул его над звездой на пилотке.

Колокольчик качался над его головой и синел, трепетал в воздухе синей звездочкой. Мы шли и смотрели на него.

Когда мы пришли в лагерь, младший лейтенант Володя снял пилотку и хотел вынуть цветок, но раздумал.

Засыпая, мы слышали, как его распекал командир роты, хмурый, усталый, давно уже взрослый человек.

Начало 60^{ых} годов

МОЛОДОСТЬ

Она рассказала кому–то, как мы поссорились. Из–за чего. Что сказала она, что я. Мы успели помириться, когда это началось.

Сначала на трибуну вышел Гриша Уткин. Поводя усами, он обстоятельно доложил, глядя в бумагу, что произошло и как отнеслась к происшедшему группа. Он говорил: «группа думает», «группа считает», «группа полагает». Он не сказал ни разу: «я думаю». Он выступал как староста. Пробормотав последние слова, он убрался с трибуны, будто его там и не было.

Я услышал за спиной легкое потрескивание, будто что–то тихо жарилось в зале, или скрипели сотни стульев, или хрустели подставки для книг. Это стало громко, как огромная сковорода, плещущая расплавленным жиром, и у меня затрещало в ушах. Я не мог еще понять, что это относится ко мне, только все трещало и в ушах повторялось: «они думают, думают, это они думают».

Потом хлопнула крышка и стало тихо. Быстро застучали в проходе каблуки. Синее платье тяжело взбиралось на трибуну, сопело, шуршало, и я увидел красное некрасивое лицо Наташи. Наташа Фомина, — ее называли, и она сразу крикнула: «невозможно», «возмутительно», «мы, девушки», «нечетко», «так, товарищи, нельзя». Она взмахнула руками и тяжело слезла вниз. Никто, наверно, не понял, что она говорила или хотела сказать, даже я, а может быть, только я не понял, потому что для меня все было совсем по–другому. Но я почувствовал себя виноватым, пока смотрел на ее сырое лицо, виноватым, что она не понимает и что я не хочу ей ничего объяснять.

И снова вокруг затрещало, трудно, едва–едва, я подумал: «трудно думать» — и из глубины зала гарцующей походкой прошел Саша Семенов, рассудительный человек в пестром волосатом пиджаке. Он вытянул шею и начал о том, что «да, конечно», «инцидент сложный», «но все же как–то», «да и к тому же», — все спокойно–спокойно и долго–долго, так, чтобы кончить все это дело и со всех сторон оказаться правым. Какое–то слово мне даже понравилось: «интимная сторона». Я подумал: интимная сторона, да, интимная, а что вы будете делать с интимной стороной, так вот и будете говорить, как о лекциях и расписании? Или это я должен говорить, потом, конечно, потом, просто так, будто «хорошая погода» или «передайте, пожалуйста, билет».

Я уже поверил, что все так и кончится, и даже приподнялся со стула, чтобы уйти, но посмотрел на окна и сел на место, потому что в окнах клубилось синее, ворочалось, будто какие–то узлы из толстого и синего, неизвестно чего, так просто не назовешь, легко не отделаешься. Я подумал: «просто вечер, синие окна вечером», но там так оно шевелилось, что будто из меня вытягивали толстое, синее, мягкое, спокойно, уверенно, как во сне, и будто это надо не мне, а кому–то, только не больно и не страшно, а нудно, нудно, протяжно.

И дальше все было сквозь это синее, так, что и уши заложило, — синяя вата. Пока я не увидел его, но его я увидел потом, когда меня позвали на трибуну. Говорил кто–то, может быть, Федоровский, кидал в зал с размаху невидимые снежки: «он бы так не поступил, ни за что не поступил, он хороший» — и последний жест далеко назад и вверх рукой, плавно: «непонятно!». Первокурсник, прыгая плечами, прочел стихи. Я подумал сквозь вату: «пользуется случаем», и снова зашипела сковородка — хлопали.

Выходили незнакомые, строгие, в черных пиджаках, говорили незнакомое: «острая оценка», «не место», тогда за окнами переставало клубиться, будто синее отрезали от меня ножом и выкинули, но потом еще выходили по–старому, становилось не слышно, только розовое пятно на трибуне, и тянет, тянет. Горячий треск, и тянет. И все. И ко мне никакого отношения, будто третий раз читают все ту же лекцию, и клонит ко сну. А я знаю больше, я могу лекцию прочесть интересней, я много об этом думал почему–то, —

почему? Но мне нельзя, потому что из меня тянут толстое, бесконечный синий жгут, но, может быть, это когда-нибудь кончится, и я, если хотите, прочту лекцию с трибуны, очень важную лекцию, только не спите, записывайте.

Когда меня стали звать из-за стола, сверху, я не поверил даже, что меня, что мне рукой машут, наверное, разрешают прочесть лекцию, но почему — раз все еще тянут, бесконечное, синее. Толкнула тишина. Толкнула в спину, и я встал, поднялся наверх и хотел на трибуну, но подозвали к столу. Тогда я увидел его.

Он сидел на первом ряду, опустив голову, как я сидел. Курчавая голова, седина, коричневая палка между ног, ботинки на толстых резиновых подошвах. Я смотрел на него, а мне надо было говорить, так сильно что-то впереди этого хотело, я увидел, что все на меня смотрят, много черточек на розовом, сильный свет, и я на этом свету, как конферансье, забывший текст, и знаю, что от стола сейчас подскажут. Но все равно надо, чтобы он на меня посмотрел, потому что я совсем не знаю, что говорить, и так ли получится, если скажу. Это я читаю стихи на вечере в школе и забыл середину. Это отец, он подскажет, отцу нельзя подсказывать, но он поможет. Не отец, все равно помогите, помогите, помогите, не знаю, что сказать.

— Вы считаете себя виновным?

(Это подсказка.)

— Нет. Нет. Не считаю.

(Он поднимает голову. Правильно я сказал? Неправильно? Надо по-другому?)

Ничего. Он смотрит на меня или мимо, умные, усталые глаза, воспаленные, наверное, он не спит ночью. Он воевал в Испании, он умный, он долго живет, он все понимает. Ничего. Он смотрит мимо. Долго смотрит на часы. Наверное, уже поздно.

— Расскажите, как это было.

— Не расскажу. Не считаю. Нет.

По-моему, я говорю правильно. Правильно отвечаю на вопросы. Я уже знаю, что это не подсказка. Это люди за столом задают вопросы. Ответы решают оценку. Там, за столом, не говорят, но я понимаю, там — «неудовлетворительно». Скажите, скажите, скажите им! Вы умный. Вы взрослый, так нельзя. Скажите им, что так нельзя!

Он осторожно зевает в ладошку, опускает голову. Курчавая седина. За столом опасное движение. Там еще ничего не говорят, но кажется, будто взблеснуло что-то острое. Вижу каждый седой волос, они, белые, толще. Кажется, что толще.

Оказывается, я все слышал и все понимаю. Вижу каждое лицо. Синеву в окнах. Слышу каждое движение в рядах. Это потому, что надо спасаться. Они хорошие, хорошие, их собрали сюда, чтобы они стали лучше. Только я тоже хороший, но считается, что я плохой. Игра. Они хорошие, я плохой. Упражнение. Задача. Студент второго курса Н-в совершил такой-то поступок. Требуется доказать, что он плохой. Требуется выяснить, как надо поступать. Вообще, в подобных случаях. В отношениях между мужчиной и женщиной, между девушкой и юношей, диспут о любви и дружбе с демонстрацией запрещенных приемов. «Расскажите, о чем вы думали, когда...», «Достойно ли советского студента...», «Право вмешиваться в личную жизнь, в семейную жизнь, в любую жизнь». Дать отпор.

— Подождите, — говорю я в сторону стола, — подождите. Сейчас я все объясню.

Не могу. Что? Что игра? Что воспитание на примере? Как это точно сказано: «воспитание на примере».

Это я сказал? Это я придумал? И — как это? Собрание давно говорит не по существу. Не по предмету. Как? Не по вопросу. Как? Это меня не касается. Помогите же, помогите, вы умный! Вы все это понимаете. Вы давно это понимаете. Вам было двадцать лет. Вы ведь тоже кое-чего не знали... Как это объяснить? Не знали. Этого никак не скажешь. Но надо вообще. Скорились, потому что не получалось. Что? Как это сказать? Не скажешь. Надо вообще. Раздевать публично. Вот. Скажите: «Нельзя раздевать публично». Я понимаю. Вы умный. Объясните. Объясните же, ну!

Спасение. Он поднимает голову. Чуть правее! Немножко. Делаю шаг вперед. Или хочу. Смотрит. Смотрит! Сейчас скажет!

Он поворачивает голову. Поднимает глаза. Умные глаза. Глаза. Вообще глаза. Человеческие глаза. Внимательные. Как у доктора. Он все—все понимает. Еще бы. Он воевал в Испании. Он был в плену. Его пытали.

Он смотрит на часы. И зевает в ладонь. Вежливо. Украдкой. Пухлые пальцы зажимают рот.

Из окон лезет синяя вата. Из меня. Или из окон. Все равно. Говорю сквозь вату. Или не я говорю. Чьи—то слова как вата. Невнятные. Лишние, бесконечные.

— На вопросы отвечать не хочу. Виновным себя не считаю. Нет.

Как—то оказался на улице. Где—то в коридоре стало обыкновенно. Хорошо. Взял ее за руку. Вышли.

В вестибюле поцеловались. И потом, между дверями. Стало так обычно, что я вспомнил фамилию автора учебника, который искал два дня.

— Ты нашла книгу?

— Нет. Если выгонят, работу тебе я уже спросила. Пойдем к дяде, договоришься. Тебе письмо от мамы. Вот билеты на восемь. В «Великане». А потом пойдем к дядьке. Ты на меня сердишься?

— Нет.

— И вообще?

— Нет.

— И совсем?

— Нет.

Когда мы шли к дяде, я вспомнил, что кто—то меня защищал. Как будто ничего этого не было, а кто—то меня защищал. Кто—то говорил, что если будет война, я буду защищать родину с оружием в руках. Ну да, буду. Обязательно буду. Это доказывало, что я хороший. Поэтому надо меня не исключать. Мы смеялись, когда я рассказывал.

— А если атомная бомба?

— А если полет на Луну?

И по очереди:

— А если кто—нибудь тонет?

— А если горит дом?

— А если будет падать подъемный кран?

— А если унесет на барже?

— А если нападут хулиганы?

— А если ничего не случится? А если ничего не случится, меня надо исключить? И никто не узнает, что я хороший?

— Я хороший?

— Хороший.

— Докажи!

— Докажу...

...И хотя кто-то все время входил и выходил, даже смотрел на нас, нам было все равно в парадной дома, где живет ее дядя. Все равно никого не было, только мы, как год назад на черной лестнице в общежитии, где мы стояли в первый раз и с каждой площадки кто-нибудь просил бросить спички закурить.

Оказалось, уже двенадцать, и мы побежали к дяде на последний этаж. Она устала, и я подхватил ее и перекинул через плечо. Она смеялась и болтала ногами. Мы обогнали какого-то смешного человечка, который ковылял вверх, останавливаясь на каждой площадке, и пыхтел как паровоз. Он остался внизу, и вдруг мы услышали, что он закричал. Мы подумали, что ему плохо.

Он кричал:

— Молодость! Вот что значит молодость! Вот это я понимаю. Ракета! Молодость... Молодые, прекрасно... Здоровое сердце, здоровые ноги!

Он так завидовал, что нам стало неудобно. Он кричал не нам, а вообще. Но мы посмотрели на него, в курчавой черной шапке, в курчавом воротнике, с профессорским желтым портфелем, с палкой. Он смотрел вверх, все еще завидя, такой умный, такими человеческими глазами! Он так понимал, какие мы молодые и как нам хорошо жить!

Вдруг я почувствовал себя взрослым, на минутку. Будто мне тридцать.

Я крикнул:

— Так что же, кроме здоровых ног, ничего нет?

— Нет! Ничего нет! — радостно подтвердил он, глядя на нас влюбленными глазами. Они блестели от лампы, и казалось, что он плачет от умиления. Такой умный. После Испании, после войны. После всего.

Я уверен, что он меня не узнал.

1961

ДИСПУТ О СЧАСТЬЕ

Шумели деревья в Екатерининском парке. За деревьями ревели моторы. По улицам шли солдаты и пенсионеры. Над Лицеем полз вверх маленький самолет. В библиотеке начался диспут на тему «Что такое счастье».

На диспут пришли двенадцать пенсионеров и взвод солдат. Солдаты сели строем на две скамейки и стали держать на коленях пилотки. Пенсионеры сложили на стол сумки, книги, зонтики и палки. Пришла какая-то женщина в строгом жакете, села в уголок и стала серьезно смотреть на солдат и пенсионеров.

«Вот они пришли, — думала женщина-библиотекарь, — и хотят говорить о счастье. «На свете счастья нет, а есть покой и воля». Я понимаю, что это значит, и я счастлива. Я счастлива, потому что знаю, какие слова весят и какие нет, какие поступки стоят того, чтобы их совершать, а какие никому не нужны. Я счастлива, потому что не жду от людей больше, чем они могут сделать и понять, и не сержусь на тех, кто причиняет мне боль. Они ведь не виноваты, они просто не понимают».

«Я счастлива, — думала женщина, — потому что меня радует бледное солнце за окном, и шум деревьев в парке, похожий на рев моторов, и рев моторов, похожий на шум деревьев. И эти солдаты с розовыми лицами и с пилотками на коленях, и эти опрятные старички и старушки, которым нечего делать и которые хотят поговорить о счастье».

Библиотекарь хотела сказать обо всем этом солдатам и пенсионерам, но в углу сидела женщина в скучном жакете, и библиотекарь подумала, что говорить не стоит, потому что ее могут не понять, а незнакомая женщина, возможно, имеет свои установки на счастье, и ей может не понравиться то, что думала библиотекарь.

Кто знает эту женщину, кто она? Зачем она пришла сюда? Что думает эта женщина в своем серьезном жакете?

И библиотекарь сказала обычные слова, какие должны говорить библиотекари, открывая диспуты о счастье.

Затем встал старичок в пиджаке цвета асфальта, только рукава до локтей не выцвели на его пиджаке, потому что много лет были закрыты нарукавниками.

Он сказал, что счастье в труде и что все зависит от того, какую специальность выберешь в молодости. Сам он выбрал профессию бухгалтера и совсем не жалеет об этом. Он был счастлив, счастлив всю жизнь.

Старичок говорил долго, но главное он сказал вначале.

Румяная старушка сказала, что однажды, когда она заболела, к ней пришел молодой врач. Этот врач был очень любезен. Он сделал ей укол, прописал лекарство, улыбался, шутил. И она была счастлива оттого, что к ней пришел любезный молодой врач. Он так хорошо улыбался!

Потом старушка была в магазине. Там стояло в очереди много стиляг в узких брюках. Они толкались, наступали на ноги и не говорили «извините», не говорили «пожалуйста». И когда один стиляга сильно толкнул старушку, она сказала: «Какая теперь грубая молодежь!» И вдруг стиляга повернулся, улыбнулся и сказал старушке: «Простите, пожалуйста, здесь так тесно!» И кто же это был? Это был молодой врач. Да, да, она его сразу узнала. И она была счастлива во второй раз.

Старушка еще долго рассказывала о молодом враче, но самое важное она рассказала вначале.

Другой старичок сказал, что счастье зависит от людей, с которыми рядом живешь, и что самые плохие люди — мещане. У них у всех квартиры в Ленинграде и дачи в Ялте. Жить с ними рядом — сплошное

несчастье. Но он никогда не видел мещан своими глазами и не знает, где они живут. Поэтому он счастливый.

Остальные девять старичков и старушек также сказали свои мнения о счастье. Они говорили долго и очень по-разному. Но главное — выяснилось, что все они счастливы или были счастливы, и, узнав это, старички и старушки порозовели и стали похожи издали на молодых.

Солдаты ничего не сказали о счастье. Они сидели строем, держали пилотки на коленях и хотели в кино. Женщина в мрачном жакете тоже ничего не сказала. Она убрала в сумку блокнот и строго посмотрела на солдат и пенсионеров.

Библиотекарь взглянула в окно на красное солнце, посмотрела на женщину в черном жакете, вздохнула и сказала обычные слова, какие говорят библиотекари, закрывая диспуты о счастье.

Пенсионеры взяли со стола свои книги, сумки, зонтики и палки. Солдаты встали со скамеек и вышли строем, держа пилотки в руках.

Куда-то делась женщина в незаметном жакете.

Библиотекарь вышла на улицу.

По улице шли солдаты и пенсионеры. Шумели деревья в Екатерининском парке. В кино шли разные люди, в основном молодые. В основном, они улыбались. А те, кто не улыбался, — смеялись. А те, кто не смеялся, — пели.

На них смотрел старичок в асфальтовом пиджаке и думал, что все они счастливы, потому что выбрали хорошие специальности.

Старушка смотрела и видела много молодых врачей, любезных, в узких брюках. И каждый раз, когда мимо проходил молодой врач, она радостно вздрагивала и ее пожилое сердце сладко сжалось и сильно стучало...

Другой старичок смотрел и не видел мещан. Мещане прятались в своих квартирах и на дачах в Ялте. И поэтому старичок весело стучал палкой, глядя, как мимо идет передовая советская молодежь.

Остальные старички и старушки тоже смотрели на молодежь и вспоминали о том, какие они были счастливые по разным своим причинам и как хорошо они выступали на диспуте.

Только сами молодые люди не думали о счастье. Они были просто молоды, и просто красивы, и просто ошелести от счастья. Они просто шли в кино.

Женщина-библиотекарь тоже не думала о счастье. Она хотела сказать им, что ей также весело, что она тоже идет в кино и — видите — тоже улыбается.

Но она была уже не молодая и знала, что такое счастье. Поэтому она решила никому ничего не говорить.

...Солнце садилось за Баболовским парком. Над Лицеем взбирался к рыжему облаку маленький самолет.

1961

НАУЧНЫЙ СЛУЧАЙ

Я — человек такой, что нигде никогда не был и не состоял, и в войне не участвовал по малости лет. Тружусь газовым слесарем — ставлю плиты, водогреи. Проживаю один, но в случае чего законно могу пойти во Дворец браков, где женят по первому разу. Образ жизни у меня есть. Режим дня, можно сказать, научный: встаю, завтракаю, иду на работу, вечером культурно отдыхаю — читаю книги, газеты, журналы, хожу в кино два раза в неделю и в цирк один раз в месяц. Никаких неприятностей при таком режиме со мной не случается, настроение бодрое, тоны сердца чистые, язык не обложен.

Поэтому заключаю, что наука изо всех сил помогает нам жить, и был бы я науке по гроб жизни благодарен, если бы не случай. Прихожу раз домой, смотрю, в ящике что-то белеется, да не письмо, а то ли повестка, то ли штраф. Открываю, а это денежный перевод на сумму 11 руб. 19 коп. А до получки еще два дня, так что сами понимаете... И кто это, думаю, внимательный такой, что догадался и в самый раз подгадал. Прямо чудо. Двинул на почту, а по дороге думаю: паспорт-то где? Не ношу его с тех пор, как один гражданин замечание сделал: «Паспорт, — говорит, — в человеке самое главное, а ты его в кармане таскаешь». Я его тогда в лужу вывалил вместе с мелочью.

Ищу дома: на столе нет, в тумбочке — нет, на окне — нет. Под матрасом и то нет. А на бумажке с переводом между прочим написано: «предъявить паспорт или заменяющий его документ». Ну, заменяющий у меня есть: удостоверение «Ленгаз». Ношу по долгу службы. Прибегаю на почту, в окошке пожилая гражданка деньги считает. Посмотрела на меня косенько и говорит:

— По студенческому не дам.

За студента меня приняла! И понятно, почему: из-за мелких черт лица. Все черты мелкие.

— У меня, — говорю, — другой это документ.

А она взглянула и опять:

— По удостоверению не дам.

После «нет» трудно «да» сказать. Перевернуться для этого надо. И вот тут-то мне и уйти бы до завтра, так нет: решил на принципе стоять.

— Как же, — спрашиваю вежливо, — не дадите, когда все равно, что паспорт, что другой документ.

— Не все равно, — она отвечает, — а «или заменяющий». Это у военных такой документ.

А я ведь в том числе и военный. У меня запас первой категории. И я кладу ей в окошко военный билет.

— Не дам, — говорит, — Не дам, не дам и не дам по военному билету.

Тогда я говорю тихо:

— Странно, будто вы, гражданка, мне не верите. А ведь вот все мои документы, подтверждающие личность, и сам я двенадцать лет на одном месте тут живу и прописан постоянно.

— Что-то не видала вас, — говорит гражданка, — сама тут на почте пятнадцать лет. И кто у нас ходит постоянно, тем пишем: лично известен. А вы неизвестен и несите паспорт.

И тут я решаю перейти на шутливый тон. Шутка, она, знаете, в трудных случаях хорошо помогает.

— А если я, — спрашиваю, — не обедал сегодня?

Но гражданка твердо на своем строгом подходе стоит и даже не улыбается.

— А не обедали, — говорит, — не блокада сейчас, не помрете.

И вот в этот момент уж совсем мне надо было уйти, и уж решил совсем, как вдруг кто-то за спиной тихо ядовитым голосом произносит:

— Работать надо, тогда и обедать будете. Работать, — говорит, — работать...

И я, повернувшись, замечаю перед собой гражданина. Ждет гражданин, что я ему на это отвечу. И я отвечаю:

— С шестнадцати лет работаю, а вы тут не мешайтесь. Уходите, так как не ваше дело.

И все вокруг будто ждали моего ответа, срываются и вопят:

— Не блокада!

— Несите паспорт!

— С голоду не помрете!

— Вот, — заключает гражданин, — значит, вы уходите. А денег нет — работать надо. Знаете, кто не работает? Тот, кто не ест.

— А вам понятно, — говорю, — что не в свое дело мешаетесь? Понятно, что вас не спрашивают? Понятно?

— Ага, не в свое дело? — говорит гражданин. — Вот вы хулиганите, мешаете работать, а я вас доставлю...

— А кто вы такой, — спрашиваю, — чтобы доставлять? — Потому что одет гражданин обыкновенно и никаких знаков на нем не видно.

— Не знаете? — говорит гражданин. — Сейчас узнаете! — И лезет за пазуху. А все кругом с интересом туда ему засматривают. Гражданин вынимает книжечку вишневого цвета, быстрым движением проводит ее перед всеми глазами и заявляет: — Вот кто я такой и прошу граждан отойти.

Потом наклоняется к окошку и заявляет:

— Так как мы с гражданином сейчас пройдем, выдайте ему, что положено.

И гражданка без слова выдает. И вижу я, что перевод от жилконторы. Я у них истопника замещал, так они обсчитались при расчете. А теперь пересчитали, и вот...

Выходим с гражданином на улицу. Берет он меня под руку и направляет в сторону Невского. Ну, а я иду. Хоть и некрепко держит гражданин, а вырываться неудобно. Некультурно вырываться перед прохожими, неудобно.

Вдруг гражданин спрашивает:

— Пиво пьешь?

— Избегаю, — говорю, — ради сохранения здоровья.

— А куда я тебя веду, знаешь?

— Вам виднее, — вежливо отвечаю, — а там разберутся.

— Правильно отвечаешь, — говорит гражданин. — А пиво пьешь?

— Иногда, — признаюсь откровенно, — для здоровья.

— Тогда давай вот сюда, — предлагает гражданин, — а то неизвестно, когда в следующий раз придется...

И мы заходим в «Пиво» на углу улицы поэта Маяковского.

Гражданин, на меня не глядя, заказывает четыре пива и сардельки.

— Ешь, — говорит, — и пей. Когда, — говорит, — еще придется.

Ем и пью, допиваю бутылку, в животе становится тепло, на душе появляется блаженство, и я думаю, что все идет по науке, и что если да, так уж да, а нет, так ничего не поделаешь, и музыку на радиоле завели, все чисто, культурно, бутылки блестят, и хочется мне гражданину сказать от полноты души, что вот хоть вы меня и ведете куда-то, а зла у меня на вас нет, но гражданин все молчит и не разговаривает. Тогда решаю позвать официантку и сам за все с нею рассчитаться.

— Будьте любезны, — говорю.

А она и не обращает внимания.

Тут гражданин напрягает лицо и негромко, но густо произносит:

— Будьте добры!

И официантка с полдороги поворачивает к нам.

— Что будете?

— Три пива, — говорит гражданин, — и сардельки вон ему.

— Спасибо за внимание, — говорю, — сыт я уже.

— Сыт, сырт, — говорит гражданин. — Мне виднее со стороны. Да и когда еще придется...

Тогда я, желая быть приятным, говорю гражданину:

— Голос у вас...

— Что — голос?

— Густой голос.

— А, — говорит, — да. Голос что надо. Лейтенант у нас был во взводе. Голосок комариный, так он мне: «А ну, Сизоицын, голос!» И я как подам! — И снова умолкает, погружаясь в приятные наблюдения.

Народу в пивной больше. Гул, веселье. Музыка играет, разговоры кругом ведутся, и я ощущаю к гражданину доверие и чуткость, и хочется мне по-хорошему за жизнь с ним потолковать. С полным доверием к его ответственной личности. Только рот открою, а он отворачивается все, отворачивается. Вроде и не приставай.

Тут за столик к нам подсаживается молодой человек. На ногах полуботинки с тяжелыми подошвами, на лице борода, пиджак крученый из толстых ниток. Во рту между зубами дырки.

Гражданин лицо ко мне через столик тянет и шепчет:

— Шпион.

— Да ну?

— Тс-с... — говорит, — английский.

Тут и я стал на шпиона смотреть. Думаю, чем черт не шутит. Поймают мы с гражданином английского шпиона, может, и все остальное обойдется. А то в газете напечатают.

И наблюдаю, как тот молодой человек мелочь на ладошке считает, и какие у него брови, и какие глаза — большие и невеселые.

— Нет, — говорит гражданин, — не английский. Скорее, американский.

— А может, и вовсе не шпион? — спрашиваю.

— Ты что, газет не читаешь? — удивляется гражданин.

— Появились такие. Рыжие, в вельветовых штанах. Зимой без шапок ходят. Выдают себя за поэтов.

— Что ж они, выходит, — спрашиваю, — стихов не пишут?

— Стихов, — разъясняет гражданин, — настоящие поэты пишут. Они их не пишут, а печатают в книжках вместе с портретами. И откуда ты только такой некультурный?

— Да нет, — говорю, — что вы... Культурным себя не считаю, но развиваюсь. Газеты читаю, книги, статьи...

— А мои статьи, — спрашивает, — читал?

А я не знаю, что сказать. Может, и читал. Имени гражданина не знаю, а статьи у него, наверное, серьезные, про бдительность, наверное...

— И не ври, — говорит, — если читал. А я в военной газете, в конце войны, сочинял. Был рядовым, а подписывал — капитан Анисимов, чтобы авторитет был и не было вопросов, понятно?

— Понятно, понятно, — говорю. И хотел спросить, когда мы покинем этот зал. Но гражданин, видя мое желание подняться, строго на меня взирает и говорит:

— Сядь, сядь и сиди... И слушай: мы теперь не понятиями оперируем, верно? Мы теперь — категориями... Во-вторых, ты мою трудовую книжку видал? Печати в ней такие — поискать. Круглые печати... В-третьих, — говорит, — морская пехота сделает из тебя человека! А теперь — пошли.

Выходим к остановке такси и там останавливаемся.

— Может, пешком, — предлагаю, — тут недалеко...

— Поедем, поедем на такси, может, теперь не скоро придется... — категорически говорит гражданин.

И становится наперед другого гражданина, а машин пока не видно. Вот подкатывает машина. И гражданин мой сопровождающий хватается за ручку.

— Стойте, — говорит другой гражданин, — я первый.

— У меня дело первое твоего, — заявляет гражданин.

— Видишь, сопровождаю?

— Ну и сопровождайте, — тот ему на это, — а меня впустите в машину. — И плечом толк, толк! А гражданин его толк, толк! Шофер смотрел, смотрел на них и отъехал.

— Ты, морда, — говорит ему гражданин, — культуры не знаешь. Из Бердичева давно приехал?

— Это вас порядку надо учить, — говорит стоявший ранее гражданин, — а я порядок знаю.

— Знаешь, — говорит мой гражданин. — А того, поди, не знаешь, как та штука в конце Невского называется.

— Знаю, — говорит тот человек. — Ростральный шпиль.

— Дура, — Александрийский шпиль это называется, — произнес гражданин. — А садик — Адмиралтеец. Вот и поезжай в свой Бердичев...

Снова машина подъехала, и мы сели без дальнейших споров. Гражданин мне шепчет: «А главное, плюй на все и береги свое здоровье. Шурин у меня в охране служит — пушка слева, пушка справа, третья

посередке, так он говорит, плюй на все и береги свое здоровье».

Едем—едем, останавливаемся у кино «Луч». Выходим. Гражданин, ведя меня за плечо, вводит в парадное.

— К тетке, — говорит, — зайдем. Тетка у меня — во! Три месяца в больнице лежала — киста у нее была — двенадцать кило... Да не кровяная, слава родине, мясная! Придем, так ты смотри не дыши!

Приходим в квартиру, на втором этаже. Квартира старинная. Коридорная система и десять дверей. И все уже заперты, так как поздно и граждане спят. Гражданин открывает дверь, и вижу — на тахте лежит худощавая женщина с седыми волосами.

— Тихо, — говорит гражданин. — Раздевайся, ложись на второй диван. А проснется тетка, начнет кричать, ты на нее не смотри, а спроси меня: «Ты меня уважаешь?» — и все. Понял? Теперь ложись.

Ничего я, если правду сказать, не понял. Только спать хочу, потому что пора, да и торможение в голове началось. И думаю, кто бы этот гражданин на поверку ни был, а сон уважает. По науке ночью надо спать. И лег. И пружины подо мной заскрипели.

Тут женщина глаза открывает, вопит:

— Дружка привел! Мало тебе, налился, да еще дружка! Ни копейки, Николай, больше не дам!

— Успокойтесь, Софья Владимировна, — говорит гражданин. — Все тихо, чинно, благородно. Серый волк знает, кого кушать. А это — Вася. Сто лет не видались. Вась, Вась, скажи!

И я, хоть и не Вася, говорю сквозь сон:

— Ты меня уважаешь?

— Робингут, — произносит гражданин и сжимает руку в кулак, поднося ее к голове.

И женщина весело смеется. Этого ей, видать, и надо. Только я задремал, гражданин снова:

— Вась, Вась!

— Ну что? — говорю.

— Не везет мне, Вася, в любви... Вчера у Спаса—на—крови одну целовал, сегодня не пришла... — И хр—р—р—р...

И тут только начинаю я подозревать, что не все так, как было, то есть не все ясно в этой истории и особенно, кто этот Николай. Может, вправду, а может, так... Но меня сморил глубокий сон. И вот ночью—то и вышел самый грустный момент этой истории, этого случая, бывшего со мной. Самое серьезное нарушение режима в моей жизни. С пива—то проснулся по делам, в коридор вышел. А обратно иду — вот беда! Дверь нужную забыл.

Ходил—ходил, в одну дверь и толкнулся. И поломился немного со сна. Не отпирают. Не та, значит. И в другую, и в четвертую, и во все подряд. И выходят один за другим в коридор граждане, а в раздетом виде можно сказать — мужчины. Зажигают свет и видят стоящего в дезабилье меня.

— Кто таков? — спрашивают.

— Человек, — отвечаю. — Гражданин ночевать привел.

— Какой такой гражданин?

— Высокий.

— Врешь?

— Не вру.

— Ты — вор?

— Да какой он вор, — говорят, — в кальсонах воры не ходят.

— Сумасшедший он, — говорят.

— Правильно, — говорят, — сумасшедший.

— Так хватай его, вяжи!

«Ну, — думаю, — на работу опоздаю».

— Не сумасшедший я, — кричу, — гражданин ночевать привел. Не трогайте меня! — И сердце как забывается, как запрыгает. Аритмия, атония, тахикардия — все сразу.

— Все сумасшедшие врут, что нормальные, — говорят, — а ну, хватай его!

Лысины блестят, кальсоны белеют, топот раздается. Вырвался все же — и на лестницу. А раздетому осенью на улице — как? Тут меня и схватили. Связали, в мешок пихают, волокут по полу и ставят в угол у кухни. А в рот — кляп.

И тогда только на шум выходит мой гражданин, особый работник, капитан Анисимов, скрытый рядовой, переодетый поэт и, быть может, чей-нибудь шпион. Кто его теперь знает, этого Николая, ночью-то в квартире.

— Что такое? — спрашивает гражданин.

— Сумасшедший к нам забрался, — отвечают мужчины. — Куда его теперь?

— Надо вызвать «скорую помощь» из сумасшедшего дома, — говорит гражданин. — И отправить.

Вот звонят.

— Сумасшедший дом? — говорят. — То есть больница? Тут у нас в квартире сумасшедший, тридцать два, квартира два. Раздетый по коридору бегает. Нет, нет, не свой, совсем чужой, у нас таких нет. Квартира отличного быта.

И только после того высовывается из двери Софья Владимировна, тетка, а может быть, теща, а может, свекровь, кто их теперь разберет. И говорит:

— Ты что, Николай, очумел? Да это гость твой, дружок твой, давно не виделись, еще говорил!

И все смотрят на Николая с заметным укором. А он шмыг в комнату. И выходит оттуда раздетый, но с документами в руке.

— Товарищи, — говорит, — произошла ошибка. Этот гражданин мне лично известен. Имею к нему поручение. Прошу разойтись спать.

И я с полной обидой ему говорю, когда кляп из меня вынули:

— Что же вы, работать не умеете, гражданин. Не доставили меня куда следует, а такой устроили из меня цирк. Ну, взяли, ну, отвели. Ну, разобрались. Виноват — засадили, не виноват — выпустили. Не по науке у вас получается. Как-то выходит по-другому...

— Ладно, — отвечает он мне. — Плюй на все и береги свое здоровье. Здоровье — оно главное всего. — Будто я и без него не знаю! — Одевайся и жарь домой, пока «скорая» не пришла.

Уже подъезжала «скорая», когда я спешил по темной улице к себе домой. Плохое было настроение. И на следующий день плохо работало сердце, и язык обложило от избыточного количества пива, принятого

внутрь.

Вот на какого гражданина нарвался, на Николая. Может, он и вправду важный, ответственный, и все вроде бы правильно — ну, пошумел, ну, взяли... А может, конечно, и так — переодетый... А я думаю после этого случая, что у человека плюс к науке еще душа должна быть. Должна быть, думаю, душа, а не только нервная система. И надо придумать правило, чтобы граждане душу уважали и не плевали бы в нее за здорово живешь. Закон такой нужен. Но, конечно, если будет признано, что душа есть по науке. Тогда, я думаю, в нашей жизни будет полный идеальный порядок.

60^{ые} годы

СНАБСБЫТ

— Еще желающие есть говорить? — спросил председатель.

Стулья задвигались, и в зале закашляли.

— Хочет кто говорить? — спросил председатель снова. «Сейчас на меня посмотрит, — подумал Мухин, — не может быть, чтобы не посмотрел».

За спиной стали разговаривать все громче и громче. Председатель ворошил на столе бумаги и ждал.

«Надо выступить, — подумал Мухин, — а то нехорошо. Подожду, пусть еще спросят».

Он посмотрел вперед и увидел толстую шею директора, сидящего в первом ряду. Вдруг шея начала краснеть, покраснели уши, и Мухин увидел, как продолжается краснота под редкими волосами на затылке.

«Ну вот, — подумал Мухин, — надо выступать».

Он кашлянул, поднялся и сказал неуверенно:

— Давайте я...

Председатель сел и сказал:

— Давай, Кузьма Петрович...

Мухин прошел боком между рядами, подошел к трибуне и взглянул на директора. Директор впился в него маленькими круглыми глазами, наклонил голову и снова начал краснеть, теперь со лба. Мухин откашлялся и сказал, глядя на лоб директора:

— Тут, товарищи, правильно про хулиганов говорится. И правильно, товарищи, — с ними надо бороться.

Директор закрыл глаза, потом поднял голову и тоже стал смотреть на Мухина.

«На нос смотрит, — подумал Мухин, — нехорошо. Нос—то у меня красный...»

— А то, товарищи, как же это иной раз выходит, — сказал он, твердо глядя в глаза директору, — выходит, товарищи, иногда нехорошо... Иду я мимо «Великан», вижу — человека бьют...

Он перевел дух, когда директор опустил глаза.

— И вот они его бьют, на что я, товарищи, смотреть равнодушно не мог. На одного, понимаете, трое... А он ничего — сдачи дает...

Директор снова поднял глаза на Мухина.

«Надо кончать, — подумал Мухин. — Ладно и так».

— И я, значит, одному дал. Так они того бросили, на меня накинулись. Вот так...

— Все? — спросил председатель.

— Все, — с облегчением сказал Мухин.

Он подумал, что теперь все в порядке, и, когда закрыли собрание, спустился вниз последним, чтобы не встречаться с директором. Зашел внизу в конторку к мастеру Архипову, но мастер ушел, и он стал разговаривать с учетчицей, слушая, как проходят за спиной люди, и радуясь этому неизвестно почему. Он уже попрощался с учетчицей, когда увидел, что по лестнице идет директор. Тогда он улыбнулся. Директор улыбнулся в ответ и покраснел. «Опять, — подумал Мухин. — Чего это он сердится?» Но директор не

сердился. Он встал против Мухина и спросил:

— А что дальше было, Кузьма Петрович?

— Эх, Осип Андреич, одни неприятности, — радостно сказал Мухин. — Побили меня, бросили и ушли.

— М-да, — мрачно сказал директор, засопел, потоптался на месте, глядя в сторону, и протянул Мухину руку: — Всего доброго, Кузьма Петрович.

Мухин пошел домой спокойный.

На следующий день Мухин получал молотки для механического цеха. Ему показалось, что молотки не такие, как нужно, но других не было, и Мухин выписал три ящика. Потом он вышел на улицу и спрятал нос в воротник, потому что на улице стало холоднее. Было еще рано, и пошел пешком. Шел, останавливаясь перед витринами, пропуская на перекрестках все машины. Спустился в буфет-автомат. Кассирша и буфетчица переговаривались со своих мест и не посмотрели на Мухина. Он прочел все надписи на автоматах, купил жетон на сто граммов волжского вина, подождал, пока из крана упадет последняя капля, и выпил.

На душе стало чуть веселее, но тут же Мухин вспомнил директора и молотки. С молотками может выйти неприятность, молотки круглощекие и боек выпуклый, непонятно зачем.

Он вышел из буфета и снова стал смотреть на витрины, но витрин по той стороне улицы, где он шел, было мало. Мухин посмотрел на большие часы и понял, что приедет на работу после перерыва. Тогда он сел в трамвай.

...Вахтерша в проходной пила чай, и Мухин, идя от двери к турникету, непрерывно ей улыбался. Подойдя ближе, он увидел, что она дует на чай и хмурится. Мухин опустил глаза, свернулся в коридор и быстро прошел мимо кабинета директора. Из-за двери механического ему в глаза полыхнуло синеватое пламя сварки, он зажмурился и налетел на рулон бумаги. Из-за рулона появилась голова подсобника. Подсобник ругнулся, Мухин виновато улыбнулся и прижался к стене, освобождая проход, а потом побежал в склад.

Кладовщица Муся щелкала на счетах. Мухин весело поздоровался с ней, снял пальто, надел синий рабочий халат и спросил Мусю:

— Как живем?

— Хорошо, — ответила Муся, не поднимая головы. — Механики просят двести седьмые подшипники...

— Вот как! — жизнерадостно сказал Мухин. — Хорошо!

Он вынул из кармана блокнот и карандаш и старательно записал о подшипниках.

— А что мне, Кузьма Петрович, приснилось сегодня, — сказала Муся. — Будто я работала-работала в цехе, и отчего-то у меня на спине бугор появился мягкий, будто кровь туда натекла... Я хожу и всем говорю, что у меня спина больная, нагибаться трудно, тяжелое поднимать... И будто Ваня этот, Семенов, бригадир, смеется и все говорит, что ничего, Муся, ничего, мол, с тобой не случится, давай, дескать, Муся, работай...

— Ну и что? — спросил Мухин.

— Да нет, ничего, — сказала Муся. — Сон только странный какой. И не бывало ничего такого отроду...

— Мне вот тоже сон однажды приснился, — сказал Мухин. — Будто бы насморк и не прдохнуть. Ну прямо хоть помирай... Так и вправду насморк был...

— А у меня ничего такого не было, — сказала Муся и снова стала считать на счетах.

Мухин посмотрел на себя в лист полированного железа.

«Нос—то опять красный, — подумал он. — Будто нарочно».

Потом он зашел в гвоздевое отделение и попытался поддеть совком дюймовые гвозди, но у него не вышло. Тогда он прошел мимо Муси деловым шагом и выглянул в коридор. Там никого не было. Он пошел по коридору и увидел, что из механического цеха вытаскивают станок.

— Эх, раз, эх, раз! — кричал из—за двери бригадир Семенов. Другие рабочие принимали станок на ломы. Когда станок опустился, Мухин вдруг заметил за станком директора.

Мухин встал к стене и увидел, что директор переступает с ноги на ногу, как вчера. Из—за станка пройти было нельзя. Директор быстро повернулся и ушел.

Станок утащили, Мухин пошел в склад, постоял, подумал и решил обойти начальников цехов, собрать у них заявки. Когда он поднялся в коридор, директор стоял там и разговаривал с главным инженером. Директор оглянулся на Мухина, но тут его позвала к телефону секретарша. Мухин перевел дух и пошел на второй этаж.

На площадке второго этажа он услышал шаги директора по железным ступеням и быстро поднялся на третий этаж. В электроцехе он взял заявку на провода, и, когда спускался, его нагнала кабина лифта. Сквозь решетку Мухин увидел директора. Ему показалось, что директор махнул рукой и крикнул. Мухин понесся вниз и оказался в подвале раньше, чем опустилась кабина. Он с облегчением подумал, что директор, наверное, вышел на первом этаже, но, открывая дверь склада, увидел, что директор идет по коридору и лицо у него мрачное.

— Директор, — шепнул он Мусе.

Муся придинула к себе счеты и сказала спокойно:

— Наверное, в механический пошел.

Мухин приоткрыл дверь, увидел, что коридор пуст, и по телу его прошла веселящая дрожь.

— Муся, — сказал он, — дай—ка щепотку чаю на всякий случай.

Муся достойно улыбнулась, выдвинула ящик стола, достала пачку и насыпала ему чай на ладонь. Мухин пожевал чай, поискав, куда сплюнуть, не нашел и проглотил горькую кашицу. Он придинул к столу второй стул, сел и стал переписывать в блокнот заявку на провода.

Когда раскрылась дверь, он вздрогнул. Муся защелкала на счетах. Директор наклонил голову и вошел.

— Кузьма Петрович, привет! — сказал директор. — Муся, привет!

— Здравствуйте, Осип Андреевич, — весело ответил Мухин, вскочил и придинул стул директору.

— Слушай, Кузьма Петрович, — сказал директор, — весь день тебя ищу...

— Да, — очень серьезно ответил Мухин.

— Понимаешь, надо тебе на комбинат ехать. Потряси их там, иначе с планом не вылезем. Через неделю бумаге конец.

— Когда ехать? — с готовностью спросил Мухин.

— Да хоть сегодня, — сказал директор. — И без бумаги не возвращайся!

— Есть! — радостно и громко сказал Мухин и проводил директора до двери.

Вахтерша пила с блюдечка чай.

— Вот, — сказал Мухин, — еду в командировку! — И показал вахтерше удостоверение.

— С богом, — спокойно ответила вахтерша.

— То-то, — важно сказал Мухин.

Подходя к дому, он вспомнил, что не обедал сегодня, и подумал, что сын, наверное, уже вернулся из школы. Но сын стоял около витрины гастронома и глазел на бутылку шампанского.

«Ах, паршивец, — подумал Мухин. — Мать заждалась, а он тут...»

Он подошел к сыну и взял его за ухо. Сын вздрогнул и поднял глаза. Увидев, что его держит за ухо отец, успокоился и отошел от витрины. Мухин отпустил ухо.

— Ах, паршивец, — сказал Мухин, — мать заждалась, а ты тут...

— Я больше не буду, — с готовностью сказал сын.

— Быстрее, — сказал Мухин. — Еду в командировку.

— Папа едет в командировку! — крикнул сын, вбегая в коридор.

— Тише, — шепнул Мухин, — нечего орать. Подумаешь — командировка.

Женщины на кухне встревоженно посмотрели на Мухина. Его жена сняла с плиты кастрюлю и понесла в комнату.

— Собери вещички, — сказал ей Мухин. — Еду в командировку.

— А что собирать? — спросила жена.

— Ну, не знаешь, что ли, — ответил Мухин. — Мыльницу, щетку, полотенце...

— Одеяло положить? — спросила жена.

— Не надо, наверно, — сказал он.

— Я спрошу, — сказала жена. — Миронов часто ездит в эти командировки.

— А ты куда, папа, едешь? — спросил сын.

— На кудыкину гору, — ответил Мухин. — Знаешь, где?

— Я тебе яичек сварю, — сказала жена.

— Положи еще пирамидон, — сказал Мухин. — Голова немножко трещит.

— Папа, надо смерить температуру! — крикнул сын.

— А ты ешь, что мать дает, — строго сказал Мухин. — Обойдемся и без температуры.

Но жена взяла из шкафа градусник и подала Мухину.

— Вот еще, с температурой не пущу...

— А как тогда производство? — спросил Мухин, расстегивая рубашку. — А что без бумаги будем делать?

— А что хотите, — крикнула жена. — Все равно больного не пущу.

— Не по-государственному судишь, — строго сказал Мухин. — Не заботишься о детях. А на чем Витька писать будет?

— Я, папа, могу и на обложках, — сказал сын.

— Ты лучше кашу доешь...

Мухин вынул градусник и стал рассматривать его на свету. Сын подошел сзади и крикнул:

— Тридцать семь и семь!

— Ну вот, — сказала жена. — Ложись, вызову врача.

— И так не помру, — сказал Мухин. — Всего на полградуса выше нормы.

Сын крикнул:

— Ну да, а в тот раз тридцать семь и четыре было, и то врача вызывали!

— Тот раз у меня грипп подозревался, — сказал Мухин. — А ты лучше компот пей... Вари, мать, яички, а ты, Витя, позвони, когда пригородные поезда с Московского идут?

— Куда? — спросил сын.

— В направлении Москвы. Пригородные... Беги.

— Никуда, Витя, не ходи, — сказала жена. — Не пущу тебя больного. Свалишься, где тебя искать.

— Вари, мать, яички, — сказал Мухин. — Чемоданчик давай.

Сын ушел в коридор, и Мухин, надевая пальто, слышал, как он говорит в коридоре: «Папа едет в секретную командировку в направлении Москвы».

Мухин прошел на кухню, и соседки посмотрели на него с любопытством. Тогда он сказал жене:

— Ладно, чего там. Обойдусь без яичек. Командировочные есть.

— Вот еще, — сказала жена. — А вдруг там магазинов нет?

— В командировках часто не бывает магазинов, — сказала жена Миронова. — Или закрытые все, как нарочно.

— Ладно, куплю чего у местного населения, — сказал Мухин. — Да там столовая должна быть... на комбинате.

— А наш отец ездит в Облпотребсоюз, — сказала Миронова.

— Это он в последний раз, — возразила жена Мухина, — а то все по районам.

— Он послезавтра снова в Облпотребсоюз поедет, — сказала Миронова. — Ругаться посылают.

— Мне тоже ругаться придется, — значительно сказал Мухин. — Там, в Снабсбыте, их всех отругать надо... Бездельники!

Он проверил в комнате документы и положил их в бумажник.

— Ну, до свидания, Елена. Сына береги, и чтобы он не шлялся по улицам поздно.

— Хорошо, Кузьма, — сказала жена. — В случае болезни напиши.

Прибежал из коридора сын и протянул Мухину руку:

— До свидания, папа, я двойку по арифметике исправлю. Желаю успехов.

— Слушай маму, — строго сказал Мухин.

Когда он открывал дверь, из комнаты вышел Миронов с газетой.

— Ну, Кузьма, как тебе нравится Африка?

— Африка что, — ответил Кузьма. — Африка ничего. Так им, колониалистам, и надо. Мы потом это дело обсудим.

— В командировку, слышал, едешь? — спросил Миронов.

— Да вот посылают? — скромно ответил Мухин. — Потрясти там народ...

— Ну давай, — сказал Миронов. — Не забудь командировочное отметить.

— Ладно, спасибо, — сказал Мухин. — До свидания.

Когда поезд тронулся, Мухин заснул.

Колеса стучали: снаб—сбыт, снаб—сбыт, снаб—сбыт...

Потом быстрее: снабсбытснабсбытснабсбыт...

«Я им покажу, — думал во сне Мухин. — Они у меня узнают».

Тогда появился Снабсбыт. Он сидел в директорском кресле и курил сигарету «Друг». На столе у него стояли три телефона. Они звонили одновременно. Крутился вентилятор.

Снабсбыт смотрел на Мухина маленькими сердитыми глазами и постепенно краснел. Затем он что-то сказал. Телефоны звонили одновременно и мешали понять, что он говорит. Снабсбыт еще что-то сказал, и его тонкие губы сжались, а подбородок заколыхался. По движению губ Мухин догадался: «Не дам!»

«Не дам, не дам, не дам», — застучали колеса.

«Как это — «не дам»?» — крикнул Мухин, и у него похолодело в спине. Он подумал: «Разве кричать можно?» — и решил: «Можно». Он крикнул еще раз: «Да это же государственное дело!» Снабсбыт смущился и нервно затянулся сигаретой. Он крикнул что-то в ответ.

«Красный нос!» — догадался Мухин. Он потрогал свой нос пальцами и крикнул: «Не ваше дело, я почти не пью!»

Снабсбыт криво усмехнулся.

Мухин крикнул: «У нас кончается бумага!»

Снабсбыт опять сказал, и Мухин понял: «Бездельник!»

Стало тихо. Снабсбыт смотрел на Мухина, улыбался. Потом положил руки на стол и приподнялся. Мухин догадался, что Снабсбыт не хочет с ним разговаривать.

Тогда он сказал: «Я же не по своей вине. Служба такая. На два часа дела. А вот когда переучет или там инвентаризация, дела по горло, ей-богу. С утра до вечера. А что я вчера в буфет заходил, так сто грамм красного выпил, чтобы согреться. А тут дело такое, что без бумаги фабрика станет, детишкам писать не на чем. Войдите в мое положение...»

Снабсбыт ехидно засмеялся и начал краснеть.

«Только не краснейте, — сказал Мухин, — а то я...»

Стало темно, только светилась сигарета Снабсбыта. Мухин заметил, как из-за самого Снабсбыта выходят еще двое с сигаретами в губах, и сказал, тяжело двигая языком: «Часы у меня уже сняли тот раз... у «Великан»... Разве не помните?»

Его ударило в лоб, наискось.

Он заворочался и проснулся.

— Снабсбыт, — сказал он, потирая затекший лоб.

Под пальцами было мокро, и на скамейке, где лежала его голова, осталось влажное пятно.

«Ломает меня», — подумал он и сунул руку в карман, где лежал бумажник. Посмотрел в окно, в

черноту. Посмотрел на женщину, спящую сидя. Потом вышел в тамбур. Там стоял проводник с фонарем. Мухин еще раз удивился: «Правда, ломает...»

Проводник открыл дверь.

— Вы бы прикрыли, — сказал Мухин. — Знобит что-то...

— Да уж приехали, — ответил проводник.

Вдруг стало светло от высоких окон вокзала. Поезд остановился, и Мухин, кряхтя, сошел по ступенькам на грязный снег.

Вокзал поплыл перед его глазами светлыми кругами, сзади поддало ветром.

«Качает меня, — подумал Мухин. — Вот уж правда. Но нельзя...»

Он выпрямился, и вокзал встал на место. Светлый дворец с высокими полукруглыми окнами и башней стоял в темноте, тихий, должно быть, пустой. Мухин поднял голову и увидел звезду на шпиле в мутных отсветах фонарей. На фронтоне изгибались два крученых кулька, из них сыпались каменные яблоки и груши. Мухин попытался вспомнить, как называются такие кульки, но не смог.

Чемодан показался ему тяжелым, а в коленях будто появились ватные подушечки. Мухин пошел качаясь через путь, добрался до перрона и поднялся по белым мраморным ступеням. Огромная дубовая дверь с латунным узором долго не поддавалась. Мухин дернул что есть силы и притиснулся через щель в зал.

Снова разбежались перед глазами светлые пятна, хлопнула дверь, гул пошел, стекла звякнули.

«Так нельзя», — подумал Мухин и сощурил глаза: он увидел каскады хрустальных слезок над множеством матовых ламп. Люстра дрожала, и радужные огоньки бежали по кругу.

«Прямо дворец», — подумал Мухин и опустился на желтую скамью.

В зале никого не было, светилось бледно окошечко кассы, да за дверью, ведущей в город, кто-то тихо говорил.

«Узнать, когда автобус в райцентр», — подумал Мухин, приподнялся и упал на место. Черные окна пошли колесом.

«Что же это? — подумал Мухин. — Как свернуло... так и совсем можно...»

Он глотнул воздуху, и воздух, как сухой хлеб, прошел в горло комом. Открыв глаза, он ясно увидел светлые буквы таблицы над кассой, но тут же таблица ушла в розовую муть.

— Эй, — сказал Мухин, — эй, эй... — и услышал, что говорит слишком тихо.

Заскрипела протяжно дверь. Резкие звуки впились Мухину в уши, становились все громче и громче, и тогда Мухин прищурился и посмотрел на дверь. Показалась женщина в коричневом пальто. Она осторожно огляделась, потом посмотрела на Мухина и вошла на цыпочках. Дверь хлопнула в самые уши Мухина, он поморщился и улыбнулся, глядя, как женщина идет на цыпочках. У нее были черные чулки на тонких дрожащих ногах, распущенные седые волосы. Она покачивалась, скользила на мокрых плитках пола.

Потом она исчезла. Исчезло все. Только кровь била по вискам, будто снаружи. Открывая глаза, Мухин ощущал, что на него кто-то смотрит. Он повернулся в сторону, откуда смотрели, и увидел над дверью разноцветную женщину. Женщина держала на полной смуглой руке сноп золотых колосьев, прижимая их к крутому бедру и улыбаясь Мухину. Толстые складки платья лежали под высокой грудью.

«А где же та?» — подумал Мухин и скосил глаза.

Женщина в коричневом пальто сидела рядом, качала ногами и что–то бормотала.

— Эй, — тихо сказал Мухин, — гражданка! Женщина все бормотала что–то и не посмотрела в его сторону. Мухин прислушался.

— ...а она меня прямо в снег, прямо в снег, — говорила женщина.

— Эй, — громче сказал Мухин, — гражданка! — И подумал: «Совсем худо. Может, помираю? Да ведь нельзя...»

Он почувствовал, что скамейка держит его спину, и с тоской глянул на красивую женщину над дверью.

Кованые сапоги застучали по плиткам. Мухин догадался, что это милиция, но не мог понять, сколько вошло людей. Стучало, будто десятки сапог.

— Давай вставай, — услышал он над собой.

— Не могу, — тихо ответил Мухин. — Заболел я...

— Я же им ничего, — громко сказала женщина, — а они меня прямо в снег...

Голос затих, не стало слышно сапог, хлопнула дверь.

«Вот теперь помру», — подумал Мухин, закрыл глаза и уснул.

Сквозь сон слышал слабый голос, размеренные непонятные слова. Потом ощутил шум в висках, свое трудное дыхание. Когда он вновь открыл глаза, ему уже было легче. Осталась слабость, но он чувствовал, что так и надо и что ему все равно. Он стал смотреть на женщину в коричневом пальто, сидящую на прежнем месте, и увидел, что она была когда–то красивая. Тонкий нос вздрагивал, Мухину казалось, что женщина плачет.

— Эй, гражданка, — сказал он весело.

Женщина повернула к нему лицо.

— Ну что тебе? Опять ругать меня будешь? Женщина наклонилась к Мухину, хищно вытянув шею, но и теперь выражение ее лица показалось Мухину красивым.

— А-а... не тот, — сказала женщина. — Ты что сидишь?

— Вот помираю, — легко сказал Мухин. — В дороге схватило...

— А-а-а! — сказала женщина. — Врешь. — И махнула рукой.

Мухин увидел тонкую кисть, узкие пальцы. Теперь ему было слишком легко. Даже скамейка перестала давить на спину.

«Все там будем», — беззаботно подумал он, но тут же нахмурился, потому что вспомнил сына и жену.

«Витьку мать вырастит, — утешил он себя, — хватит им и одной зарплаты. Витька в слесари пойдет, зарабатывать будет. Ничего, как живешь, так и умрешь...»

Ему было так легко еще и потому, что кто–то смотрел на него весело, не жалея. Мухин поднял глаза и увидел, что смотрит та женщина с колосьями.

«Вот и ей все равно», — расслабленно подумал Мухин.

Женщина в коричневом пальто повернулась к нему и сказала задумчиво:

— Жрать хочу...

— А вот в чемодане яички, — сказал Мухин, — возьми. Женщина подняла чемодан на скамейку, открыла. — Да ты командировочный, — сказала она. — Вот и мыло. А яички теплые еще. Жена варила?

— Жена, — сказал Мухин.

Женщина облупила яйцо, бросила скорлупу под скамейку и стала быстро есть.

— Соли вот только нет, — сказал Мухин. — Забыла жена.

Он смотрел, как женщина ест, как она щурится и двигает губами, и вдруг сам захотел есть. Он потянулся к яйцу, и женщина сказала:

— А говоришь, умираешь... ну ладно, вставай, до автобуса доведу. Тебе в райцентр? Сейчас последний.

Мухин встал, качнулся и подумал, что боялся зря, что ничего опасного нет, только развезло немного.

Женщина взяла Мухина под локоть, и они пошли, покачиваясь, к выходу. На них смотрела, победно улыбаясь, красивая женщина с колосьями на руке, точно такая, как та, нарисованная на другой стене.

Автобус стоял у самого вокзала. Женщина помогла Мухину подняться и легонько толкнула его в спину.

Мухин встал в дверях, улыбнулся и спросил неожиданно для себя:

— А у вас—то кто есть?

— Были, да все вышли, — сказала женщина. — Эй! — Она махнула рукой и отпрыгнула в сторону.

Кондуктор в пуховом платке сказала строго:

— Гражданин, отойдите от двери.

Мухин улыбнулся ей и сел на сиденье с печкой под ногами. Снизу подступало тепло, Мухина знобило, и тепло было ему приятно. Он съежился на сиденье, закутался в пальто и задремал от тепла.

Немного качало, звякали стекла в расшатанных рамках. Мухин приоткрывал глаза и видел впереди спокойный затылок водителя, белую накатанную дорогу. По сторонам проскакивали какие-то строения, башни, толстые стены с бойницами, и Мухину нравилось смотреть на все это просто так, не думая, что это такое.

Автобус остановился, но Мухину все казалось, что он едет, все хотелось покачиваться и ощущать расслабляющий озноб. Кто-то взял его за плечо. Он открыл глаза и увидел перед собой спокойное доброе лицо с узкими глазами. Кондуктор сказала негромко:

— Дом приезжих за три улицы отсюда, недалеко...

Мухин осторожно выбрался на снег. Снег был вязкий, и Мухин догадался, что оттепель.

Голубая луна наклонилась над райцентром, и голубые окна домов, окружающих площадь, показались Мухину теплыми. Он потоптался на месте, примериваясь, куда идти, и пошел направо от остановки, радуясь твердости в коленях и окрепшей спине.

По площади прокатился плотный ветер, подтолкнул Мухина в спину, задрал полы пальто. Мухин качнулся, махнул неопределенно рукой и пошел по ближней улице. Он услышал визг и глухой лай, увидел темный клубок и подумал, что там катится собачья свадьба. Потом он увидел, что это люди.

Впереди всех шел длинный человек без шапки, в расстегнутом пальто. Его высокий лоб светился от луны. Он шел медленно, широкими шагами, а с боков то и дело высаживали вперед маленькие женщины в черных платках. Они вытягивали шеи и говорили что-то высокому человеку, и он коротко отвечал. Женщины отбегали назад, и на их место выбегали другие. Раздувались платки, и женщины казались Мухину похожими на ворон, прыгающих вокруг лошади.

— Доктор, а что нужно? — услышал Мухин, когда люди поравнялись с ним. Он посмотрел на женщин и увидел, что все это старухи. Он подумал, что и ему стоит подойти к доктору и спросить, что с ним такое делается. Но снег так легко скрипел под его ботинками, от фигуры бежала сбоку такая веселая тень, что он раздумал и свернулся на улицу, где стоял Дом приезжих.

Он же узнал этот дом по позднему свету в окнах. Там, за окнами, ходили по занавескам медленные уютные тени, дым из трубы опускался вниз и пахнул березовой корой.

Мухин поднялся на крыльце, дернул шаткую дверь. Она оказалась запертой. Мухин постучал. Ему не ответили. Он постоял на крыльце, глянул беспомощно на соседние темные дома и вдруг затряс дверь, улавливая из-за, двери сильный запах березовых дров, теплой масляной краски, свежих простыней.

Женский голос сказал из-за двери:

— Мест нет.

— Как нет? — спросил Мухин. — Не может быть. Мне ночевать надо...

— Нет мест, — повторили из-за двери.

— У меня голова болит, — растерянно сказал Мухин. — Я приезжий, мне ночевать негде.

— Не тряслите дверь, — сказала женщина. — Милиционера позову.

Мухин отпустил дверь и подумал: «Шофер где-то ночует. Может, не ушел. Попрошу».

Подходя к площади, он оглянулся и увидел позади на дороге людей. Они быстро приближались, и Мухин догадался, что это те самые старухи с доктором. Высокий человек почти бежал, старухи подпрыгивали, и по снегу метались косые узкие тени.

Мухин заторопился. На площади он увидел автобус подле остановки. Казалось, что там, внутри, уютно. Горел слабый свет, слабый свет луны пробивался сквозь окна.

Мухин постучал по стеклу. С заднего сиденья поднялся шофер. Дверь открылась со скрипом.

— Хозяин, — сказал Мухин. — Пусти переночевать. В доме мест нету.

Шофер виновато улыбнулся и сказал высоким голосом:

— Да мне бы что, я бы пустил, да вот, понимаешь...

— Договоримся, — сказал Мухин, — свои люди!

— Я бы тебя пустил, — сказал шофер, — нельзя же на улице человека оставлять. Да вот, понимаешь, семейные мы, ночуем...

Мухин увидел, что к двери подходит женщина-кондуктор. Она подошла и виновато улыбнулась Мухину из-за спины мужа. Потом зевнула. Мухин потоптался на месте и сказал:

— Ну, тогда извиняюсь...

Пошел быстро назад и думал: «Добрыйм людям и автобус дом. Работают вместе и не ругаются, наверное». Он вспомнил женщину на вокзале и немного пожалел ее, старую, бездомную. И подумал без жалости: «Сама виновата. Людям вон и автобус дом».

Мухин не знал, идти ли к Дому приезжих, и остановился перед улицы. Мимо него быстро прошел высокий человек, и Мухин узнал его.

«Доктор, — подумал он. — Пойду к доктору».

Он догнал высокого человека и пошел сзади. Человек шел к Дому приезжих. Когда он поднялся на

крыльцо и постучал, Мухин встал рядом и сказал:

— А меня вот не пускают.

— Ничего, сейчас пустят, — сказал человек уверенным голосом.

Дверь открылась, и Мухин просунул чемодан.

— Я же сказала — мест нет! — крикнула ему в ухо маленькая женщина в халате.

— Ладно, ладно, хозяйка, — сказал высокий человек. — Надо быть гостеприимной. Какое начальство среди ночи придет?

— Как же, — сказала жалобно женщина. — По телефону место заказывали.

— Знаем мы эти штучки, — сказал высокий человек. — Сам заранее заказываю.

Мухин вошел в комнату вслед за высоким человеком и посмотрел на его лоб. Над правым глазом у человека была косая вмятина. «Там, наверное, мозг, — подумал Мухин. — Страшно».

Он задвинул чемодан под кровать, положил на тумбочку мыльницу. Человек прилег на подушки и стал рассматривать Мухина. Потом он сказал:

— У вас умное лицо. Вы много думаете?

Мухин ответил, глядя на дрожащую вмятину:

— Да нет, как-то не приходилось. А вы — доктор?

— Да, я — ассистент, — ответил человек. — А здесь читаю лекции о долголетии.

— Доктор, — сказал Мухин. — А я тут на вокзале чуть не помер. Пот, знаете, слабость в коленках...

Лектор внимательно посмотрел на Мухина:

— У вас грипп, должно быть. Вот, возьмите, вожу на всякий случай.

Он вынул из кармана трубочку с таблетками и кинул Мухину.

— По одной три раза в день.

— Спасибо, доктор, — сказал Мухин. — Как это получилось, что я чуть не умер?

Лектор опять внимательно поглядел на Мухина, и он подумал с опаской: «На нос смотрит».

— Ну и умерли бы, так что? — неожиданно спросил доктор.

Мухин вздрогнул и посмотрел на его лоб. Кожа на вмятине быстро поднималась бугром и опадала, будто под нею билось маленькое сердце.

«Психический, кажется», — подумал Мухин и ответил:

— Я так думаю, что вроде бы неловко. Вот жена у меня, сына растить надо...

— Ну, а если бы и не надо было, тогда что? — сердито спросил доктор.

Мухин напрягся и подумал, как лучше ответить.

— Все равно помрем, — сказал он с облегчением.

— Ну, а если бы в этот раз? — быстро спросил лектор и присел на кровати, вглядываясь в Мухина.

Мухин вспомнил, как обессилела у него спина на вокзале, как не ходили ноги, и вспомнил женщину с большой грудью с колосьями. Вспомнил, как она глядела на него, и сказал обиженным голосом:

— А вам-то не все равно?

Лектор снова лег и повернулся лицом к стене. Мухин стал раздеваться.

— Гасите свет, если мешает, — глухо сказал лектор.

Мухин выключил свет и, когда шел от выключателя, ощутил босыми ногами ласковую прохладу крашеного пола и телом — свежее тепло воздуха. Его глаза сами собой закрылись, и он упал в постель. Сразу же закружила голова, потому что подушка и простыни пахли свежим чистым ветром, и было странно, что они теплые.

Лектор полежал молча и сказал спокойно:

— Я ведь почему спрашиваю. Вот кончил лекцию, так за мной все старухи. Скажи им да скажи, как на свете дольше прожить? А чего им жить — головами от старости трясут... Какая радость?

— Да, — откликнулся Мухин, — чего им...

...Он плыл уже по весенней реке на белой и мягкой льдине. Спине было удобно лежать, в лицо дул ветер, пахнущий снегом, шевелил волосы. Было ему очень хорошо, только внутри он понимал, что льдина растает, и тогда он умрет. Льдина начала таять очень быстро, и Мухин проснулся, чтобы не умереть.

— Доктор, — сказал, — вы, наверное, философию проходили?

— Изучал, — сказал доктор. — А что?

— Вот я хотел спросить, как это по-философски будет — уважать?

Лектор подумал и ответил:

— Ну вот если человек умный, справедливый, то его можно уважать?

— Доктор, — спросил Мухин. — А если я, к примеру, директора нашего боюсь, так я могу его уважать?

Кровать лектора длинно заскрипела, и Мухин догадался, что тот сел.

— А чего вы боитесь? — громко спросил лектор.

Мухин вздрогнул и обрадовался, что не видно лба и этой вмятины.

— А чего вы все боитесь? — сердито крикнул лектор. — Надо же вам бояться, черт вас дер! Жить боитесь и умереть боитесь... А мне не жалко вас, не жалко...

— Вот и я тоже так думаю, — тихо сказал Мухин. — Если кого не жалко, так обязательно бояться будешь. Или как? Я не так сказал... Я философии не обучался. Вот мне завтра на комбинат ехать, начальство тревожить.

— Ну и стукните кулаком по столу! — сказал лектор. — И нечего дрожать. Давай, что надо, и никаких!

— Ну нет, — сказал Мухин. — Вы, доктор, простите меня, хоть и по-философски, а не дело говорите... Начальник на меня крикнет, так я его испугаюсь, а как испугаюсь, рассержуся и что-нибудь не так ему сделаю... Скажем, на него крикну, так он испугается и мне вреда сделает. Зачем кричать? Вот оба пожалели бы один другого.

— Ну так жалейте, — сказал лектор. — Бойтесь, жалейте, черт вас всех поймет.

Он встал, вышел из комнаты, и Мухин услышал, как он кашляет надрывно подле умывальника и бормочет сквозь кашель.

Мухин уснул. Было в его сне что-то крепкое, надежное, — и спине, и голове, и вообще. И весь остаток ночи ему дул в лицо и шевелил волосы теплый ветер, пахнущий чистой наволочкой и простынями.

Проснулся он оттого, что будто сам говорил себе в ухо: «Людей надо жалеть». Перевернулся на

другой бок, не открывая глаз, а в другом ухе услышал собственный голос: «Бояться не надо».

По коридору ходили. Откуда-то громко трещали горящие дрова, и с улицы в открытую форточку проникало немного березового дыма. Громко падали капли, внизу чавкала снежная кашица.

Мухин легко поднялся, спустил ноги на пол. Он увидел, что уже поздно, потому что занавеска на окне была совсем белая.

Лектор спал, неудобно согнув большое тело, розовые ступни торчали сквозь прутья спинки кровати.

Мухин прошел на цыпочках по комнате и посмотрел на лицо лектора. Он увидел стянутые губы, будто лектор собирался свистеть, крылья носа ходили тяжело и неровно, а вмятина на лбу то дрожала мелко, то медленно опускалась и поднималась.

«И во сне—то тебе покоя нет, — подумал Мухин. — Мучает наш брат вашего брата. Вот ты жалеть никого не хочешь, а я пожалею. Бедный ты, несчастный, хоть и умный...»

Мухин оделся и, когда умывался в коридоре теплой водой, пахнущей дымом, захотел еще кого-нибудь пожалеть, но коридор был пуст и жалеть было некого. Тогда Мухин заторопился, натянул пальто и выскочил на улицу.

Его обвило несильным ветром — нос, уши, рот. Женщины везли на финских санях ведра с водой, везли покупки, детей. У всех были независимые лица, покрытые до глаз большими платками.

Он вышел на площадь, посмотрел. Впереди торчал высокий забор, справа — книжный магазин, слева — чайная и автобусная остановка. Он смотрел на площадь и видел клочки сена, тихонько перелетающие через колеи в снегу. Мухин вспомнил, что надо узнать, когда идет автобус на комбинат, и направился к остановке. Автобус уходил через полтора часа. Мухин пошел в чайную. Тут пахло чем-то вкусным, он попытался вспомнить, чем, но не смог и поднялся по лестнице в зал. Там пахло тем же вкусным, буфетчица вязала за прилавком. За столиком в углу разговаривали трое мужчин, одетых по-городскому.

«Тоже командированные», — угадал Мухин.

У окна стояла девушка в белом халате с большими рыжими пятнами на животе. Она смотрела на площадь.

Мухин купил в буфете закуски и узнал, что вкусное, чем пахнет, — пельмени. Он пристроился за столиком у окна и стал есть. Пельмени были хорошие, туние, с соком, но Мухину что-то мешало есть с полным удовольствием. Он вспомнил, что хотел думать, и стал смотреть на людей в другом углу.

«Эти, по краям, — соображал Мухин, — просить приехали. Вон как пиво пьют, будто боятся, что их увидят и отругают. А тот, посередине, потолще и птица, значит, поважнее. Ругать кого-то приехал. Пьет — будто брезгует».

Он прислушался к разговору за столом и по музыке голосов понял, что придумал правильно. Двое по краям звенели комарами, взахлеб, с перебоями. Средний говорил реже, коротко и резко.

«Теперь пожалеть», — сказало что-то внутри Мухина. Он подумал и ответил себе: «Да нет, чего их жалеть. Начальнику — не поможет, а эти двое боятся. Все боятся, боятся, и чего, правда, боятся?»

Что-то внутри у него твердело, и он отвернулся от командированных.

В этот момент толстый окликнул девушку, стоявшую у окна. Девушка неохотно повернулась и пошла к столику, ковыляя в стоптанных босоножках.

— Да уберите ваш рубль! — крикнула она вдруг за спиной у Мухина. Начальник бурчал низким голосом, что-то успокаивающее. Девушка считала сдачу, и у нее тряслись руки.

Командированные ушли, и девушка вернулась к окну. Мухин заметил, что у нее высокая грудь, серые большие глаза, курносый нос, пухлые губы.

Мухин посмотрел в окно и понял, на чтоглядит девушка. Он так быстро понял, что даже обрадовался. Напротив, у книжного магазина, стояла другая девушка в пальто с меховым воротником. Она вытирала ботинки, поставив ногу на ступеньку крыльца. Она давно уже вытирала ботинки. Мухин понял это, потому что рядом с нею стоял высокий офицер и что–то говорил, тоже, наверное, давно. Девушка смеялась и убирала со щеки волосы, и Мухину через площадь было видно, что девушка красавая.

«Вот скоро замуж выйдет, — подумал он, — за лейтенанта. А ботинки новые, ишь, хвалится».

Он посмотрел на девушку, стоящую у окна, и заметил, что глаза у нее стали стеклянные, лицо обмякло. Губы обиженно шевелились.

«Ну вот, — подумал Мухин, — вот и ясно. Она так каждый день смотрит, а самой, наверное, не в чем на танцульки сходить... Ей–богу, не в чем».

Девушка приложила руку к глазам и убежала на кухню. Крутые бедра сердито колыхались под халатом, а босоножки стучали громко.

Мухин подошел к буфету, заплатил за еду и спросил буфетчицу неожиданно для себя:

— Девчонка–то у вас чья?

— Сирота она, — охотно сказала буфетчица, — с войны. Как бабка померла, так она у нас тут посуду моет, да за официантку... А вам что, если спрашиваете?

Мухин застеснялся и ответил:

— Да я так, вот подумал, да вот посмотрел...

Он вынул из бумажника деньги и положил на стекло. Буфетчица глянула на бумажку и удивленно улыбнулась.

— Вы не думайте что, — сказал Мухин. — Девка молодая, гордая. А на танцульки тоже надо чего одеть.

Буфетчица убрала деньги и подтвердила шепотом:

— Верно, гордая, И чаевых не берет, а зря...

— Ну нет, — строго сказал Мухин. — Это вы неправильно говорите. Нечего у всяких унижаться.

— Вот–вот, — сказала буфетчица. — Я и говорю.

Мухин вышел на площадь, и у него закружилась голова. Возле него сшибались снежные ветерки, а главное, на душе стало тихо и ясно. Он с удовольствием вспомнил, как положил деньги на прилавок и что сказал буфетчице. Он решил, что площадь можно понять все–таки, только надо долго думать, что можно понять и ветер, и что если бы не ветер, то все было бы как–то по–другому.

Он вернулся в Дом приезжих, собрал чемоданчик. Пошел платить за ночлег и взять паспорт у маленькой женщины.

Женщина была опухшая и грустная, и Мухин, пряча паспорт, сказал:

— Я на вас, гражданка, не сержусь, что не пустили. Всякое бывает!

— Еще чего, — сказала маленькая женщина. — Сказано было: мест нет.

Мухину от этих слов стало темно на душе, и он подумал: «Раз так говоришь, значит, на улице не ночевала».

Он прошел через сени и снова попал в светлый снежный день. Он попытался подумать, как будет на комбинате, что он скажет и как, но думалось почему-то о снеге, о финских санях, о мокром ветерке.

Он сел в пустой автобус. Вошли еще женщины, шофер посигналил, и машина выехала с площади.

Мухина качало, снова немного знобило, и он, кутаясь в пальто, стал прикидывать в уме, как будет на комбинате. Выходило ясно, но по-разному. Сначала он представил, что Снабсбыт вроде начальника из чайной. Тогда получалось, что говорить надо тихо и быстро, а потом внимательно ждать, пока он ответит. Если же Снабсбыт вроде директора фабрики, тогда надо говорить радостно и громко и бояться, что он покраснеет. Он прикинул еще лектора на месте Снабсбыта, но вспомнил его вмятину на лбу и подумал, что он будет кричать и что ему никого не жалко. Главное, у всех Снабсбытов, которых придумал Мухин, было одно общее — они отказывались давать бумагу, и выходило, что ему придется возвращаться ни с чем.

Дальше пошел бор. Сосны стояли облепленные снегом, и стволы у них были мокрые. Между стволами появились просветы, в них было видно поле с красноватым кустарником. Мухин заглядывал в снежные просветы, и ему неожиданно захотелось выбраться из автобуса, пойти прямиком через сугробы, выйти на поле, потрогать кусты, и чтоб ветер, и чтоб можно было упасть в снег, встать, снова падать и смеяться громко, просто так.

Мотор завыл громче. Задрожали стекла. Дорога поднималась, лес отставал. По краям дороги встали одинаковые сосны с откинутыми назад ветвями, на ветвях лежал толстый снег. Сосны тоже будто взбирались на гору, и темно-зеленые изнанки огромных лап гудели от напряжения. Низкое небо стало темней и давило. Автобус еле двигался, взрывая колесами мокрый снег, и Мухин ощущал, как трудно автобусу, и невольно наклонился вперед, как бы помогая ему. Он чувствовал, что впереди, наверху, есть что-то громадное и просторное. Оно угадывалось издалека. Только до него было трудно добраться и автобусу, и сосновам, и ему, Мухину.

У вершины холма мотор заглох. Мухин услышал, как чертыхнулся водитель, выбирайся из кабины. Мухин спрыгнул следом, прямо в снег.

Впереди лежало белое полотно, слитое с небом. К нему вела дорога, широко изгинаясь по холму. Стояли по краям одинокие сосны с вершинами, придавленными снегом. Они все взбирались на холм и не могли добраться до самого светлого места. Мухин посмотрел назад и увидел, что и те сосны, позади, не добрались до вершины.

«Озеро!» — подумал Мухин и шагнул к белому полотну. Он шагал еще и еще, но озеро не приближалось. Тогда он пошел по дороге легко и быстро, хотя что-то будто давило на плечи и на голову. Он увидел теперь, что с озера тянется к дороге дымная туча. Это она давила на Мухина, на озеро, на холм, на сосны, на автобус, и все казалось придавленным к земле.

«Так не годится», — неясно подумал Мухин.

Он развернул плечи, выпрямился. Снежный ветер набился в рот, туча закрутилась над головой огромным серым вихрем, потекла в бесконечность над белым полотном, и сосны легонько прошумели вершинами.

Мухин ощущал все это в один какой-то миг и закрыл глаза, чтобы удержать его. В этой легкости было что-то очень нужное ему. Он даже подумал, что хочет, чтобы так было всегда, и просто не знал, как ему теперь без этого.

«Знаю, какой Снабсбыт, — быстро подумал Мухин, — такой, как я. Значит, поймем как надо. И не бояться или там жалеть».

Позади прогудел автобус. Мухин вернулся, сел к чемодану, и автобус покатил вниз, к бесконечному

белому полотну. Внизу открылся поселок из многих одинаковых крыш. Между крышами торчали сосны. Дальше стояла над серыми кубами высокая труба, рыжий дым замазывал пространство.

Мухин глядел на белое полотно и верил в Снабсбыта, какого он придумал. Но потом смотрел на рыжий дым и думал, что будет не так, как хочется.

Автобус въехал в поселок и покатился мимо одинаковых черных домов с глухими окнами. Кругом делалось все темнее, и, когда автобус остановился у щита с объявлениями, все было окутано серой туманной мутью.

Мухин вышел и увидел у остановки натоптанную тропинку, ведущую к серым кубам. Он добрался по ней до проходной и позвонил с замиранием сердца в отдел снабжения и сбыта.

Женский голос ответил, что заведующего нет, но что он где-то на комбинате, может быть, у директора. Мухин хотел спросить, какой он, но постеснялся и попросил заказать ему пропуск. Получив пропуск, он кинулся к двери, спеша поскорее увидеть, какой же на самом деле Снабсбыт.

Он поскользнулся во дворе. Местами лежали рыжие лужи, и снег повсюду был рыжий. Из тонкой трубки у громадного чана пыхтел пар и оседал на снег желтой пеной. Чан был в густых грязно-белых потеках. Мухин отпрыгнул подальше и почувствовал неясную тревогу: «Выдумал я про Снабсбыт...»

Он вошел в первую дверь, какую увидел. В тусклом свете многих лампочек тянулся желоб, по которому текли куда-то маленькие щепки. Дальше ворочался винтовой нож, его острые края тускло поблескивали. Мухин ходил между желобами и транспортерами, беспомощно озираясь вокруг. В ушах у него сильно шумело, он видел спины в комбинезонах, кучи мелких щепок, и снова подумал с отчаянием: «Нет, не такой Снабсбыт». Наконец он нашел какую-то дверь, открыл ее и очутился во дворе. Впереди стоял корпус с длинными узкими окнами. Мухин кинулся туда через лужи. Он открыл маленькую дверь и увидел две лестницы: одну, железную — вниз, другую, каменную — наверх.

Он спустился вниз, хотя и знал, что не найдет там Снабсбыта. В длинном коридоре под тусклой лампочкой несколько человек возились подле станка, загородившего проход. Ближний к Мухину человек поддел станок ломом. Из-за станка молодой голос крикнул:

— Эх, раз!

Станок подвинулся. Когда Мухин подошел ближе, он увидел у всех напряженные лица. И все подняли головы и посмотрели на него, на Мухина. Дали пройти. Мухин протиснулся между станком и стеной и побежал по коридору. Он столкнулся с каким-то человеком, и человек крикнул:

— Куда несешься?

— В отдел снабжения, — объяснил на бегу Мухин, и человек махнул рукой вперед.

— В административном корпусе...

Мухин выскочил в глухую мокрую мглу. Впереди светились окна маленького дома. Он вдруг представил ясно, что Снабсбыт обязательно похож на директора фабрики, у него толстая неповоротливая шея, и он обязательно будет краснеть и кричать.

Мухин быстро поднялся по лестнице и увидел на двери табличку: «Отдел снабжения и сбыта». Он остановился, отышался, снял шапку, надел ее, отряхнул пальто, застегнул его на все пуговицы. Он уже хотел постучать, когда из дальней двери вышел какой-то человек. Лицо этого человека было веселым. Но когда он переступил порог, оно стало обычновенным и каким-то неуверенным.

«Тоже, наверное, командированный», — подумал Мухин, потому что человек был в пальто и шел к отделу снабжения. Мухин отступил, пропуская его. Тогда в коридоре открылась еще одна дверь, и на

пороге появился директор. Это наверняка был директор. Мухин понял, что это директор, по плавности, с какой он распахнул дверь. И в этот миг человек в пальто резко повернулся перед самым лицом Мухина и кинулся по лестнице вниз.

Директор несколько раз шагнул в коридоре, он будто хотел окликнуть того человека, но понял, что тот уже далеко.

Теперь директор вопросительно посмотрел на Мухина, а Мухин медленно пошел навстречу этому взгляду. Но тут директор опустил глаза, быстро и плавно повернулся и двинулся к своему кабинету. Мухин медленно пошел следом. Когда он открыл дверь, то сразу увидел директора сидящего в следующей комнате за столом, заметил приглашающее выражение его лица.

— Здравствуйте, — сказал директор Мухину с приветливым достоинством и показал на кресло перед столом.

Мухин поздоровался и сел, вопросительно глядя на директора.

— Вы вовремя наведались, — сказал директор. — Как раз вчера мы пустили первый фильтр.

— Очень хорошо. — сказал Мухин, глядя на директора удивлением.

Он снял шапку и хотел сказать, зачем приехал, но директор не дал ему говорить и добавил:

— А в следующем квартале поставим второй, и у вас к нам никаких претензий не будет.

— У нас претензий к вам нет, — сказал с достоинством Мухин, — бумагу всегда хорошую даете, только...

Он увидел, что директор заулыбался широко и совсем по-домашнему. Он протянул к Мухину руки, сказал радостно:

— Так вы не из охраны вод?

— Не—ет, — сказал Мухин. — Я с четвертой фабрики.

Директор заулыбался.

— Ну, ну, и как у вас дела на фабрике?

— Идут помаленьку, — скромно ответил Мухин. Только в настоящий момент вы нам бумагу задерживаете.

— Вот что, — протянул директор, снял телефонную трубку и кивнул Мухину. — Сейчас проверим!

— Петра Тимофеевича, — попросил директор.

Ему, видимо, ответили, что того нет, потому что директор нахмурился и сказал в трубку:

— Где же он бродит? С утра ищу... Сейчас узнаем, — сказал Мухину директор, бросив трубку.

Он сложил на стол руки и посмотрел на Мухина еще добре, чем прежде.

— А я~~что~~ думал, что вы из охраны вод.

— Да нет, — смущенно ответил Мухин, — я с четвертой фабрики.

Директор провел ладонью по волосам, покрутил головой и доверительно сказал Мухину:

— Вы и представить себе не можете, сколько у нас с этой охраной хлопот. Одних штрафов в этом году... — он посмотрел в блокнот на столе, — сто с лишним тысяч!

— Да, плохо дело, — сочувственно сказал Мухин.

В дверь постучали, и в комнату вошел давешний человек, только теперь без пальто, в синем халате, с записной книжкой в нагрудном кармане.

— Куда вы пропали? — спросил не сердито директор, и человек ответил, неуверенно улыбаясь:

— По цехам ходил, заявки проверял...

— Вот тут товарищ, — директор кивнул на Мухина, — из центра приехал.

Человек впервые посмотрел на Мухина, пробормотал: «Здравствуйте», — и Мухин увидел остатки волос, зачесанные на купол лысины, красный нос.

«Вот он какой», — с тоской подумал Мухин.

Директор спросил:

— Мы когда четвертой фабрике отгружаем бумагу?

Человек вздохнул свободно и сказал знакомым радостным голосом:

— Сегодня отгрузили вагон.

— Ну вот, видите, — весело сказал Мухину директор. — Претензий нет?

Мухин встал, подхватил с коленей шапку и сказал веско:

— Нет, у нас никаких претензий... Спасибо...

Директор протянул руку, и Мухин неловко пожал ее.

— Вы, товарищ, сегодня уже не успеете уехать, — сказал директор, — так я позвоню, чтобы вам в общежитии дали переночевать. Хорошее общежитие, для «итээр». Посмотрите поселок, в столовую сходите, в кино...

— Спасибо, — ответил Мухин и взглянул осторожно на того человека, который был Снабсбыт. Он уже понял, что тот не похож ни на кого из тех, которых он придумывал, но все же Снабсбыт был на кого-то похож, и Мухин стад думать, на кого.

Выходя из кабинета, он услышал, как директор сказал Снабсбыту:

— Вот какое дело, Петр Тимофеевич, надо тебе в леспромхоз ехать...

В коридоре Мухин медленно натянул шапку и остановился, боясь признаться себе, на кого похож Снабсбыт. Над выходом горела знакомая лампочка с пыльным верхом, знакомый паркет в трещинах упирался в знакомую стену с голубой панелью.

«Не может быть! — подумал Мухин. — Где я? Что со мной такое!»

Он тихо спустился по лестнице и пошел в темноте по лужам к проходной. Громадный чан вырос перед Мухиным, и он ясно увидел на железном боку толстые корявые потеки. Сильно пахло кислотой. Мухин посмотрел на пузыристый потек.

— Нет, может быть, — сказал сам себе Мухин, прыгая через лужи.

Вахтерша в проходной отставила блюдце с чаем и взяла у Мухина пропуск. Он пошел по тропинке и вышел к поселку.

Оранжевые и темные окна домов были одинаково прямоугольны и одинаково плоско смотрели наружу.

«Чего уж там, — горько подумал Мухин, глядя на окна. — Совесть надо иметь. Что он, что я — все одно. Директор, и тот тоже... Все одно, все то же, а как тот раз показалось, и не бывает...»

Вдоль улицы потянуло сырым ветром. Мухин поежился, его опять зонило.

«Эх, — подумал он, — таблетки забыл...» И вдруг ветер стал как будто теплым, и Мухин остановился, но снова ему в лицо плеснуло сыростью, он согнулся, ощущая тяжесть в голове и в плечах, и пошел по улице. Надо было спросить, как пройти к общежитию, но никто не попадался по пути, а дома были такие одинаковые, такие тянулись перед ним одинаковые заборчики, что он не мог решить, в каком доме спросить дорогу. Наконец в одном из окон мелькнула тень, и Мухин свернул туда.

В коридоре дома было темно и пусто, но во многих комнатах горел свет и двери были закрыты неплотно. Мухин остановился, не зная, в какую дверь постучать. Поблизости громко разговаривали. Несколько раз что-то стукнуло глухо. Внезапно перед его лицом распахнулась дверь, что-то заслонило свет и крикнуло ему в лицо:

— А-а-а!!!

Толкнув Мухина плечом, из комнаты выбежала женщина с распущенными волосами и крикнула из темноты отчаянным голосом:

— А-а! А-а-а! А!!!

По коридору легко прошелестели прикрываемые двери. На пороге комнаты появился мужчина в майке. Руки висели и были покрыты ветвистыми синими венами. Человек напряженно смотрел на Мухина. Мухин видел совсем близко тупо спокойное лицо, плотно сжатые губы, внимательные глаза.

— Ну, — негромко сказал человек Мухину.

— Отойди, убьет! — крикнула женщина из коридора. Мужчина медленно поднимал руку, складывая пальцы в кулак.

Мухин попятился и почувствовал слабость в спине. Не от страха, а оттого, что у человека было какое-то немое выражение лица.

«Ударит?» — подумал Мухин и отступил. Короткие пальцы с плоскими ногтями дрожали перед лицом, и дрожь передалась Мухину. Женщина еще раз крикнула из темноты коридора, и Мухин, уронив чемодан, неловко взялся руками за кулак человека.

Его ударило в лоб наискось и ослепило. В темноте за вспышкой удара завертелось огненное колесо, появилась женщина в коричневом пальто, которую Мухин где-то видел, шофер автобуса с женой стояли в дверях и улыбались. Косые черные платки старух метались по ветру. Старухи прыгали вверх, к голубому свету, кричали: «Не хочу помирать, не хочу помирать», лектор сел на кровати и спросил: «А ты, Мухин, боишься?»

— Нет! — крикнул Мухин и крепче вцепился в руку. Его швыряло от стены к стене, и он с удивлением слышал глухие удары собственного тела о стены. Из-за спины непрерывно кричала женщина. Мухин открыл правый глаз и увидел под собой обмякшее лицо, мокре, беспомощное, с оттопыренными губами. Человек упрямо хрюпал. Мухин на всякий случай перехватил вторую руку, рука оказалась податливой, мягкой. Острая судорога прокатилась от левого виска Мухина к сердцу, и он сказал в мокрое лицо:

— Ну что ты, дурачок? Ну чего ты, чего, а?

Губы человека задвигались, человек открыл глаза, часто заморгал.

— Что ж ты, дурачок, дурачок... — повторил Мухин, встал, нагнулся к чемодану и сел рядом с ним.

Как только он закрыл глаза, в лицо ему подул теплый ветер, пахнущий снегом. Ветер шевелил волосы, Мухин плыл, плыл и приплыл на снежную дорогу, уходящую вперед широкими изгибами. Давило серое небо, но Мухин встал без усилия и увидел за дорогой белое пространство. Узкая туча уходила вверх над его

головой, сосны карабкались на холм, прогибая тяжелые снежные верхушки.

«Снабсбыт такой же, как я», — вспомнил Мухин. Подумал немного и поправил себя: — Нет, я такой, как я! Как надо. И все хорошо. А Снабсбыт другой...»

Непонятно откуда поднималась в нем легкая сила. Она была похожа на ветер, пахнущий снегом. Он открыл глаза и улыбнулся. Женщина с растрепанными волосами вытирала ему лицо мокрым полотенцем, деловито, словно стол. Человека в коридоре уже не было.

— Ладно, — сказал Мухин. — Спасибо. — И встал. — Вы скажите, как мне до общежития «итээр» добраться?

Женщина объяснила, Мухин взял чемоданчик и вышел

У забора стояла сосна, неподвижная, прямая. С нее капало, и внизу чавкал жидкий снег. Издалека светил фонарь на теплые тихие дома. Мухин увидел все это и понял, что вечер настоящий, такой, как надо. Он улыбнулся и ясно подумал, что теперь совсем свободен, что может идти куда хочет. Скоро он вышел к низкому каменному дому с круглыми окнами. Он посмотрел на дом и понял, что там кино.

«В кино так в кино», — весело подумал Мухин, купил билет и вошел в зал. Картина уже началась.

Девушка с распущенными светлыми волосами, каких он много видел в городе, ходила по экрану и делала какие-то знаки артисту, одетому лесником. Девушку Мухин смутно припоминал, ему не нравились только ее движения, а мужчина-лесник и все другие вокруг были незнакомы, кричали и делали все невплопад, а от этого и на девушку смотреть было трудно.

Люди рядом с Мухиным то дружно ахали, то вдруг смеялись. «Верят, — подумал Мухин, понимая, почему все верят, и не удивляясь тому, что сам он не может вместе со всеми затаить дыхание, ахнуть, когда на экране дерутся, и засмеяться, когда показывают смешное.»

«Показывают, — подумал Мухин. — Неправда, а — показывают». Он посидел еще немного, глядя только на девушку с распущенными волосами и желая ей поверить, поверить ее глазам и жестам, но она не давала ей верить, и тогда Мухин встал, пробрался к двери и вышел на улицу.

Он удивился тому, что вечер продолжается. Главное в нем была тишина, и эта тишина была настоящая. Он шел по улицам, легонько улыбаясь, трогал сосны, заборы, поднял комочек снега, подержал в руке. Снег растаял, по руке потекла нехолодная вода. Мухин увидел аптеку и, еще не заходя, догадался, что там перед банками и флаконами должен стоять смешной маленький человек. Он открыл дверь и увидел этого человека. Человек возмущенно посмотрел на Мухина и принял быстро объяснять, что таблетки от гриппа без рецепта не дают. Потом он заставил Мухина купить таблетки от желудочных болей, достал пластырь и ловко залепил Мухину левый висок, непрерывно ворча при этом.

Мухин хотел сказать аптекарю что-нибудь веселое, чтобы тот перестал ворчать, и сказал:

— Славно у вас в поселке.

— Что-о? — сердито переспросил аптекарь.

— Хорошо, говорю, у вас в поселке! — повторил Мухин.

— Да, да, лучше не бывает, — сказал аптекарь, подталкивая Мухина к выходу.

Мухин сразу отыскал общежитие и обрадовался, что пахнет краской, и теплу, и березовому дыму, но что-то помешало ему радоваться сильнее.

Он понял это, когда увидел маленькую женщину в халате, которая повела его наверх и показала кровать в большой комнате, где был еще длинный ряд стенных шкафов и серые одеяла на кроватях.

Женщина любезно улыбалась. И Мухин понимал, почему она так улыбается, и заметил, что она улыбалась проще, показывая ему, где титан и где взять чайник.

Мухин вспомнил, что он не обедал, но столовая уже закрыта, и он купил в ларьке пряников и конфет.

Поднимаясь наверх, он увидел на площадке за столом трех девушек. Мухин понял, кто они, какие и отчего они такие. Он подумал, что им надо обязательно что-то сказать, но не знал еще, что, и пошел за водой к титану.

Когда он пил чай, в комнату вошел тощий человек. Мухин взглянул на него и сразу определил, что он командированный, но не такой, как надо, не тот. Мухин стал торопиться, чтобы скорее уйти от этого человека, выпил воду без конфет и съел яйца с пряниками. Он положил конфеты в карман и вышел к девушкам. С ними сидела теперь четвертая, маленькая, рыжая, и читала по слогам:

— «Ру-мя-ной за-ре-ю по-крыл-ся вос-ток...»

Мухин посмотрел на девушек, и, хотя на душе у него было тихо, он захотел, чтобы стало бойко. Он напрягся немного, и у него получилось.

— Здравствуйте, девушки, — сказал он. — Можно с вами посидеть?

Девушки пододвинули ему свободный стул, он сел и замолчал.

Рыжая повторила, не поднимая головы:

— «Ру-мя-ной... за-ре-ю...»

Девушки косились на подбитый глаз Мухина, но он понимал, что не может уйти, не сказав им чего-нибудь из того, что знал теперь он сам. И он сказал:

— Вот гляжу я на вас, девушки, и вижу: грустные вы какие-то...

— Мы не грустные, — ответила одна. — Мы скучные.

— А что же вы такие?

— Да что, — неохотно откликнулась девушка. — Вот пришли с работы, а делать нечего. Хоть бы танцы...

— А что, музыки нет? — спросил Мухин, сразу понимая, что говорит не то, насиливо говорит.

— Да есть, — сказала та же девушка. — И пластинки есть. Только ведьма не дает. Мы у нее по одной половинке ходим.

— А вы возьмите ее за бока! — бодро сказал Мухин.

— Ну да, — ответила девушка. — Мы ее боимся...

Тогда Мухин сказал:

— Не надо бояться, правда. Она такая же, из того же мяса. Вот хоть философски возьмите, хоть как. Уважать надо... И себя и всех прочих. Вот вы девушки молодые, красивые, вам танцевать надо. Не дает комендантша, значит, красоту вашу не уважает.

Он заметил теперь, что все девушки смотрят на него. Он увидел их глаза и дальше, за глазами. Там было что-то, едва-едва, и Мухин не мог назвать это, только вспомнил ветер, пахнущий снегом. Он подумал, что это и есть главное, и заговорил быстро, торопясь сказать, что поднимала в нем легкая сила, и следил за глазами, что он может сказать очень важное и что его поймут.

— Вот ваше дело, может, и малое, рычаги двигать или на приборы глядеть, а прикиньте, что вместе выходит: вы на комбинате бумагу производите, на другой фабрике из той бумаги тетради делают. А

детишки наши пишут в тетрадях арифметику свою или диктанты, а вот учительница им проверяет, пятерки ставит, двойки... И что же выходит, девчата, что все мы друг другу нужные и все как бы хозяева...

Из комнаты вышел тощий человек, и Мухин замолчал. Девушки посмотрели на него, и, когда повернулись к Мухину, он увидел, что из глаз убегает что-то, только возникшее и нужное ему.

Девушка сказала:

— Так и мы мечтаем, как это все будет потом, при коммунизме... Хорошо получается, а как пьяные ребята в комнату ломиться начнут, комендантша прибежит — никакой радости, одно вышиванье.

— А это вы, девушки, неправильно говорите, — строго сказал Мухин. — Без радости никто вас не развеселит. Вы сейчас радуйтесь, подумайте сначала, а потом радуйтесь... Думать-то просто.

И, понимая, что его слова уже не доходят, добавил с отчаянием:

— А то еще природа бывает красавая: сосны там, ветер когда подует, луна светит... Снег тоже. Как это в стихах: «Румянай зарею покрылся восток...»

Мимо прошла женщина в халате, твердо глядя на девушек. Мухин посмотрел на нее, а потом на девушек, в их глаза, и увидел, что там ничего прежнего нет.

— А вы что, пропагандист? — спросила та, что читала стихи.

— Да нет, — тихо ответил Мухин, — снабженец я. Он вынул кулек с конфетами:

— Угощайтесь, девчата.

— Спасибо, — сказали девушки и взяли по одной.

— Ничего, — успокаивал себя Мухин, спускаясь по лестнице. — Это у них случая подходящего не было, а будет — поймут, что к чему.

На улице плотный ветер качал фонари. Пьяно шумели сосны, Мухин поправил шапку и пустился против ветра. Он думал, что не сказал девушкам главное: главное — не надо бояться. Совсем чтобы не бояться. Или это по-другому надо, чтобы стало понятно?.. Но это было трудно обдумывать. Мухин махнул рукой и стал слушать ветер, и замычал что-то веселое себе под нос.

Ветер был как музыка, и Мухин стал подпевать, получилось складно и красиво. Получилась песенка про фонари и про сосны, про низенькие заборчики вдоль улицы, про дома с оранжевыми окнами и про голубую луну. Песенка была про самого Мухина, про его жену и сына Витьку, про директора фабрики и про женщину на вокзале. Про комбинат и про Снабсбыт, который не такой, как надо. Песенка получилась и про девушек из общежития.

Мухин пел свою песенку и думал, как хорошо все укладывается в нее, лучше, чем в слове. А все вместе представлялось Мухину как дорога по холму, как белое поле до неба и как серое небо, которое совсем не давит на плечи.

Шли девочки в черных шинелях и серых солдатских шапках. Обогнали Мухина, спросили:

— Какую вы, дяденька, песню поете?

Мухин протянул им конфеты, они, смеясь, разорвали кулек, обступили Мухина, подталкивали, кидались снежками, принимали его за пьяного. Вдруг притихли и пошли с ним рядом, разговаривая негромко певучими голосами, поворачивали к нему головы, блестели глаза, под жесткими шапками мотались тонкие косички с бантиками.

Мухин долго подпевал их голосам, и они шли вместе по дороге, потом девочки убежали, и Мухин остался один перед баней, где горел тусклый свет и шумела вода. Он стал подпевать свету и воде, а из

темноты выплывали под фонарь женщины в белых платках до бровей с тазами в руках.

Они все шли, шли, а он все пел и пел.

Потом он вернулся в общежитие, разделся, лег на узкую кровать. Прибежали парни, говорили о картине, бросались на кровати и долго ворочались, а он понимал, почему они ворочались, и ему было их немного жалко.

Во сне его распирала легкая сила, и Мухин понимал, что сам управляет этой силой, может велеть ей разбудить его, сделать так, чтобы он не боялся, и много другого, надо только ее запомнить, и он шевелил во сне губами, будто запоминал.

Когда он шел утром к остановке автобуса, поселок был в густом тумане. Сквозь туман сочилась вода, и немного пахло кислотой. Туман не мешал ему идти, но потом что-то стало мешать. Он оглянулся и увидел рядом тощего человека.

Человек засмеялся коротко и сказал:

— Все не так, все неправда.

— Что неправда? — спросил Мухин.

— Ваши песни, — сказал человек, — что вчера в коридоре пели.

— Вы так думаете? — робко спросил Мухин.

— Да что — думаю, думаю! — зло сказал человек. — Ничего не думаю. Знаю!

— Откуда вы знаете? — принуждая себя, спросил Мухин.

— Откуда, откуда, — сказал из тумана человек. — Езжу вот, вижу... Всяких видел, и таких, как вы, разговорчивых... Только думал, одни лектора такие, а вы вроде наш брат, снабженец. Верно?

— Верно, — сказал Мухин, ощущая внезапную усталость. — Снабженец я...

— Снабженец и я, — сказал тощий человек. — Такой же. Между прочим, никогда не боялся паскудной житухи.

— Не боялся? — переспросил Мухин, оступаясь в невидимую яму.

Нога проваливалась в мокрый снег, и он не торопился вытаскивать ногу, еще не зная сам, что просто хочет отстать от тощего человека.

— Где вы там? — недовольно спросил человек.

— Я здесь, — сказал Мухин. — Нога провалилась в яму.

— Выбирайтесь скорее, — сказал человек. — Вам куда?

— Мне на остановку, — быстро ответил Мухин.

— Уже отдохнули? — спросил человек.

— Да, да, у нас все в порядке, — торопясь, подтвердил Мухин.

— Везет вам, — протянул тощий человек. — Оттого вы такой и разговорчивый...

— Разговорчивый? — переспросил Мухин.

— Да, да, — сказал человек. — А мне вот опять туда переться. Уж четвертый день торчу. Правды нет, бога нет... Прощайте!

— До свиданья, — сказал Мухин и встал на остановке. Тощий человек сразу исчез в тумане, исчез

даже звук его шагов, и Мухин, пока не подошел автобус, все топтался на месте и вертел головой.

Он вышел из автобуса на вокзальной площади и подумал, что надо дать на фабрику телеграмму. Пробираясь по скользкому снегу к вокзалу, он сообразил, что ехать до города всего три часа и телеграмма может не успеть. Но отправить телеграмму хотелось, и он стал подбирать слова.

«Девятнадцатого в ваш адрес отгружен вагон бумаги», — думал Мухин. — Нет, не так: это если бы с комбината посыпали, то было бы так. А то ведь я сам. Тогда: «Девятнадцатого отгружен вагон бумаги. Мухин».

Он пожалел, что не спросил у директора, какой вагон, потому что тогда бы можно было сообразить, сколько тонн. «...Девятнадцатого на четвертую фабрику отгружено сорок тонн бумаги», — подумал он. — И правильно было бы, и красиво...»

Он вошел в зал ожидания и огляделся, ища окошечко почты. В зале никого не было, только на дальней скамье сидела маленькая старушка в черном, прямо под резным вензелем «МПС» на желтой спинке. Виднелось окошечко кассы, а почты не было видно, и Мухин медленно пошел вдоль стен, читая плакаты, предохраняющие от попадания под колеса. Прочитал надписи: «Не курить», «Не сорить», «Дежурный по станции», «Парикмахерская», «Комендатура». Остановился перед сатирическим плакатом, на котором разинул пасть тунеядец, нарисованный в виде огромной деревянной ложки с зубами по краям.

Вдруг резко хлопнула дверь, и по полу заскребли сапоги.

«Милиционер», — подумал Мухин.

Милиционер лениво шел к скамье. Подковки на каблуках протяжно звенели по кафельным плитам. Не доходя до старушки, он повернулся к Мухину, вскинул белое лицо.

«Скажите, где тут находится почта?» — составил Мухин, но не успел сказать.

— Что ты тут делаешь? — спросил милиционер.

— Поезда жду, — ответил Мухин, догадавшись, что милиционер смотрит на его подбитый глаз.

— Поезда ждешь? — спросил милиционер, не веря.

— Да, поезда, товарищ милиционер, в город ехать, — быстро объяснил Мухин.

— С таким глазом? — спросил милиционер. — Смотри, могу и документы проверить...

— Мне на почту надо, — сказал Мухин. — Телеграмму на фабрику отбить. Командированный я. Скажите, где тут находится почта?

— Почта? — спросил милиционер. — Предъявите документы.

Мухин вынул из-за пазухи бумажник.

— Все не надо, — сказал милиционер. — Паспорт прошу. Так, — сказал милиционер. — Еще что? Командировочное. Так! Вы свободны. На почту пройдите вон через ту дверь.

«Бумага отгружена в надлежащем количестве девятнадцатого февраля сего года. Мухин», — написал Мухин на бланке и сдал телеграмму.

Подошел поезд.

Мухин сел в вагон и поехал в город.

1961

КОШКА И МЫ

Кошка родила котят, мертвеньких. Теперь она ходит по квартире, ищет, куда мы их спрятали. Вспрыгивает мне на руки, лижет ладони. Язык у нее шершавый. Кожа долго хранит его жесткое и нежное прикосновение.

Ночью просыпаюсь от того же ощущения:

— Брысь, Кузя!

Кузя с печки удивленно таращит желтые глаза. Это, может быть, нервы? Нет, это материнская нежность кошки продолжается во мне. Это слишком сильно и необычно для человека. Это — звериное чувство.

Рано утром она просится наружу. Очень не хочется просыпаться — я слышу, но я сплю. Кузя терпеливо подбирает нужный тембр, и вдруг меня словно сбрасывает с постели — во сне сердце сжалось от сострадания. Нашла-таки ключ!

Кошка — тоже человек. Это сказал мальчик в больнице, мальчик, ползающий по асфальту и таскающий грязную кошку поперек живота.

Кошка — тоже человек, а я теперь — тоже котенок. Кузя усыновила нас: и меня, и жену. Ночью она насылает сон: мы стоим на крыше высокого здания. Внизу — море. На море — корабли. Сигнальная мачта с флагами, маяк. Дух захватывает от высоты, от зыбкости, от вечности жизни, пронизывающей нас, от беспредельности моря.

Жила ли Кузя у моряков, или там жили ее предки, — мы не знаем, как образуется память у кошки, как она передается. Но нам она дарит лучший свой сон, свою лучшую память — дух захватывает, море, жизнь! Этот сон, наверное, видел только я и не успел поделиться им с женой — тогда, когда она еще могла бы признаться в этом счастье.

В доме все вверх дном — жена учится петь, я бегаю по редакциям, разговариваю с глухонемыми. Не убрана постель, нет еды. На столе пылятся ноты, книги, тарелки. От усталости, от занятости, от чего-то еще медленно и тихо зреет ссора.

Кузя внимательно изучает потолок. Мы живем в первом этаже старого монастырского дома. Под ним рыли туннель метро, дом осел, и теперь окна первого этажа бровень с землей. На сводах образовались тонкие трещины, и вот их-то она изучает: может быть, дом скоро рухнет? Отчего же мы такие неуютные, нескладные, отчего так резко звучат наши голоса?

Наконец мы обедаем вместе. На столе банка пунцовых молдавских перцев. Мы режем их и жумим красные куски. Кузя укоризненно смотрит с окошка. Не говоря ни слова, выскакивает из комнаты.

Когда через несколько минут жена выходит на кухню, Кузя уволакивает под стол кусок мороженого мяса. Мы не поделились с нею, и она справедливо уносит свою долю. У зверей — так.

Кузя, глупая, мы ели перец, а не мясо! Мясо приготовлено для супа, ты получишь свою долю!

Объясняться тут бессмысленно: Кузя понимает только то, что видит, что слышит и что чувствует. И это она понимает отлично.

Но что же делать, что же делать, что же делать! Ссора все зреет и зреет. Оказывается, у нас нет денег, и жена говорит об этом очень громко. Она возмущена. Где же их взять, денег? Ну, зайдем, перебьемся... Но она устала без денег. Она не может больше так.

Кузя внимательно выслушивает разговор, уходит и скоро возвращается с голубем в зубах. Подходит к жене, кладет голубя к ее ногам. Жена накидывается на Кузю:

— Паршивая кошка! Ты зачем ловишь птиц?

Кузя с удивлением смотрит на нее:

— Ведь ты сама только что говорила, что хочешь есть? Да что же она сказала на самом деле, если не это?

Не хочу, не хочу! Не могу больше ничего страшного. Сажусь за работу у себя дома, у себя, на чердаке. Во сне получаю известие о несчастье, которое еще может быть счастьем: во дворе нашего дома, на асфальте, жена раскладывает подушки с дивана. Она огородила ими угол, и мы устраиваемся под небом, и нам было хорошо вдвоем, было тепло. Немного капало с неба, во двор плыли крутые облака.

— Если дом на самом деле может рухнуть, давайте устроимся на свежем воздухе! Как просто, как свободно, и какие краски — что-то желтое, синее, красное, зеленое! — Кузя любит, оказывается, и понимает цвет.

Возвращаюсь в наш дом. Диван с подушками на месте. Кузя ходит по квартире и поднимает голову, ласкаясь о мою ладонь. Как я могу знать, как можем знать мы с Кузей, что это случится сегодня!

Бессознательно задерживаюсь на лишние два часа у знакомых. Я ничего, ничего не знаю, знать не хочу. С легким сердцем возвращаюсь домой.

За квартал от дома меня дожидается Кузя. Она давно уже разыскивает меня: шерсть вздыблена, глаза горят тревогой, хвост поднят и дрожит.

— Скорее, скорее домой! Несчастье!

Мы несемся наперегонки и врываемся в квартиру: я через дверь, Кузя через форточку.

Жена не спит. Она сидит на диване и говорит, говорит. И все, что она говорит, правда, и она права, и ей нечего возразить, и это высоко, как природа, — я слышу грозу, гром, свежий ветер проносится по нашему полу подвалу — все уже испорчено, и ничего не поправить.

Она уже — природа, а я всего лишь человек, а она хочет жить «как все», и родить ребенка, и переехать в новую квартиру в новом доме, и получать деньги, и каждый день обедать.

Когда небо раскрылось над сводами нашего дома, я успел разглядеть несколько звезд. Я не должен был видеть их тогда, не должен был восхищаться этой грозой, этим ветром, этими молниями!

Еще не раз после этого заворчит гром с ясного неба, не раз нахмурится природа, честно и высоко сожалея обо мне, но не помогая, не будучи в силах мне помочь, и какой дождь прольется... Какая будет гроза! Ведь это будет так несправедливо!

...Кузя пришла в дом зимой, в страшный мороз, она была еще подростком. Другие кошки, спасавшиеся у нас от стужи, покидали нас, а эта осталась. Осталась несмотря на духоту, и сырость, и холод. Котят Кузя рожает раз в году, всегда по три. Я спасал их от утопления, даря знакомым.

Она дымчатая, с белой грудью. У нее длинная, но не пышная шерсть. Ростом она невелика. Весной, в марте, она ввалилась в форточку, пьяная от любви. На ее брюхе гремела ледяная бахрома. За Кузей, позабыв об осторожности, спрыгивал ее возлюбленный. Я угождал ему. Он не хочет есть. Он деликатно благодарили меня, проходя подле моих ног.

Однажды я привел женщину, ждущую ребенка, в новую квартиру в новом доме. Из комнаты дохнуло подвальной ледяной сыростью, ужасом и бедой. Женщина плакала и ничего не понимала. Она не умела

различать, где подвал, а где человеческое жилье.

Теперь я живу один в этой квартире. Кошки здесь жить не могут. Они болеют и уходят. В этом доме держат собак.

Недавно я узнал: та м — соседка—богомолка утопила Кузькиных котят. Оставили одного — они хотят усыпить Кузю.

Время вынесло котят

Промяукать в дикой стуже.

— Нужен кто, а кто не нужен?

Кто не нужен из котят?

1967

ПОМИДОРЫ

Летом рядом с магазином построили будку. Когда поспели кедровые орехи, мальчишки из поселка заняли ее со своими сумками и стаканчиками. Они мусолили карандаши и, страдальчески сдвинув брови, выводили на клочках бумаги сумму дневной выручки. Иногда они выручали по рублю в день.

По понедельникам будку занимали женщины. Они продавали хариусов — остатки воскресного улова своих мужей.

В сентябре вода потеплела, и хариусы ушли в глубины Байкала. Жители поселка в свободное время копали картошку, так что и шишковать стало некому. Будка опустела.

Однажды в воскресное утро к ней подъехал новый голубой «Москвич». Из него вышла женщина в черном платке. Водитель, пожилой приземистый мужчина с короткими ногами, в черной косоворотке и в кепке, открыл багажник и вынул из него корзину, закрытую тряпкой. Женщина сняла с заднего сиденья весы и отнесла их в будку. Мужчина поставил на прилавок корзину. Они поговорили о чем-то, и он ушел.

Женщина отвязала тряпку и стала выкладывать на прилавок помидоры. Она вынимала их и складывала на прилавке в пирамиду, аккуратно приставляя один помидор к другому. Затем она вынула из корзины лист бумаги и стала складывать вторую пирамиду рядом с первой.

Среди бурой земли у будки, окруженные желтыми досками, перед пятнистыми уже склонами сопок помидоры алели, глянцевито сияли под солнцем, а за ними незаметно чернела фигура хозяйки.

Женщина вытащила из-под прилавка позолоченную алюминиевую хлебницу и поставила ее на весы. На другую чашку она поставила гирю. Она взвесила килограмм помидоров, сняла гирю и положила помидоры на другую чашку. Столько, чтобы чашки стояли ровно. Со дна корзины она достала бумажки с ценами, положила их перед пирамидами и стала ждать. В полдень к магазину стали собираться хозяйки. Они останавливались перед прилавком, опускали глаза на бумажки с ценами и проходили мимо в магазин. Потом магазин закрылся на обед. Улица опустела.

Женщина прилегла на прилавок и посмотрела на дорогу. Дорога была пустынна. Женщина умела ждать. Это была уже немолодая женщина. Но она устала стоять. Она присела на корточки. Голова ее скрылась за прилавком. Вскоре она услышала шаги.

Она быстро поднялась, но никого не увидела. Тогда она высунулась из будки и проводила глазами прохожего.

Солнце, бившее помидорам в лоб, теперь освещало их слева. Лицо женщины спряталось в тени.

Чтобы развлечься, она стала перекладывать помидоры с одной чашки на другую. Она брала два помидора в руки, сравнивала их величину, укладывала их на весы и брала другую пару.

Затем она стала подбрасывать помидор в воздух. Алый шарик взлетал над прилавком, блестя глянцевитым боком. Тень прятала женщину. Казалось, помидор подпрыгивает сам.

Один раз он упал на землю и покатился к луже. Женщина поисками прутка и стала вылавливать помидор, поглядывая на дорогу.

Выкатив помидор на сухое место, она подняла его, обтерла подолом и, войдя в будку, положила на весы.

Когда солнце нависло над станцией Байкал и тень от высокой дороги упала в кювет, к будке подошел первый покупатель. Он был в ватнике и берете, через плечо висела полевая сумка.

Увидев его, женщина стала перекладывать помидоры на чашках весов, — те, что побольше, направо, остальные налево.

Покупатель не посмотрел на бумажки с ценами. Он протянул ей деньги. Онасыпала помидоры с хлебницы ему в сумку.

Следом за ним подошел мужчина с короткими ногами. Он посмотрел на нетронутые пирамиды, выругался, вынул из кармана пустую водочную бутылку и закинул ее в Байкал.

Он помог женщине уложить помидоры в корзину, поставил корзину в багажник. Женщина положила весы на заднее сиденье, мужчина завел мотор, развернулся машину и вывел ее на дорогу.

В следующее воскресенье они приехали позже. Мужчина поставил машину за будкой. Он вылез из машины и лег рядом на траву.

Женщина сама вытащила из багажника корзину, понесла ее перед собой, держась за ручку обеими руками. Она вернулась за весами, поставила на прилавок. Затем она снова вернулась и вытащила из машины высокий табурет с маленьким сиденьем.

Она разложила помидоры в две пирамиды, наполнила чашки весов и стала ждать.

Мужчина, полежав у машины, встал и прошел мимо женщины, не взглянув на нее.

Она проводила его взглядом и поправила бумажки с ценами, прислоненные к пирамидам.

Вскоре в магазин, одна за другой, начали собираться женщины. Некоторые из них подходили к будке, вытягивали головы, издали разглядывали цену, кричали что-то сердитое, размахивали руками и уходили.

Женщина провожала их глазами до дверей магазина. Солнце слепило ей глаза. Она приставляла руку к глазам и поворачивалась на стуле, когда хотела посмотреть, не идет ли кто-нибудь еще.

Через час по дороге прошел человек в берете и ватнике, с полевой сумкой через плечо. Женщина быстро добавила на золоченую хлебницу один помидор и склонилась над прилавком.

Человек прошел мимо. Женщина смотрела вслед ему, пока он не скрылся за поворотом.

Магазин закрыли на перерыв, потом снова открыли. Снова подходили к будке хозяйки и, увидев бумажки с ценами, уходили.

Женщина беспокойно ерзала на стуле, потом слезла с него. Она услышала шум на дороге и высунулась из будки.

По дороге медленно шли люди.

Женщина смотрела на людей и шевелила губами. Когда люди приблизились немного, она сняла с хлебницы лишний помидор и села на стул. Она смотрела прямо перед собой и видела воду, пологими горбами бегущую к берегу.

За темной голубизной воды стояли плоские серые горы, а еще дальше, освещенные солнцем, торчали острые белые скалы с голубыми ребрами. На них уже лежал снег.

Люди несли гроб. Он был коричневый, с белыми кружевами глазета. За ним несли крышку. Позади процессии шли две женщины с корзинами и бросали на дорогу еловые ветки.

Женщина с любопытством посмотрела на гроб, на крышку. Затем она взглянула на дорогу и слезла со стула. Она хотела выйти из будки, но, посмотрев на людей, тихо идущих по дороге, стала быстро собирать помидоры и складывать их в корзину. Она унесла корзину в машину, вернулась и забрала весы. Закрыв дверцу на ключ, она побежала в магазин.

Когда она скрылась за дверью, к будке подошел человек в берете и ватнике. Он посмотрел на пустой прилавок, на машину и пошел своей дорогой.

Женщина вышла из магазина, неся в руке бутылку водки и завернутую в бумагу селедку. Она спрятала водку под прилавок и вынесла из машины помидоры.

Она сложила уже первую пирамиду, когда пришел мужчина. Он спросил ее о чем-то, она ответила, покачав головой. Затем она достала из-под прилавка водку и протянула бутылку мужчине. Он взял с прилавка селедку, достал из машины кусок хлеба и улегся на солнце.

Выпив водку, он швырнул бутылку пинком, подошел к прилавку и стал бросать помидоры в корзину. Они падали на дно с глухим стуком.

Женщина отодвинула рукой мужчину и стала собирать помидоры сама.

Погрузив поклажу в машину, они сели на переднее сиденье.

«Москвич» круто развернулся, выехал на дорогу и покатил вдоль высоких сопок, покрытых вперемежку густозелеными и ярко-желтыми пятнами.

Потом сопки стали однообразно сизыми. Тяжелые мутные волны били в берег, их брызги достигали дороги и падали в рыжие длинные лужи, разлившиеся по колеям. Дальний берег закрыли тучи, и озероказалось бесконечным.

...«Москвич», забрызганный желтой грязью, остановился у будки. Женщина вынесла ведро, доверху наполненное помидорами, и выложила на прилавке высокую пирамиду.

Машина выехала на дорогу и скрылась за поворотом. Женщина проводила ее глазами и стала ждать.

Когда к магазину начали подходить хозяйки, женщина спряталась в глубине будки. Но никто к ней не подошел. Тогда женщина сама вышла навстречу. Она остановила одну из хозяйств с кошелькой и спросила ее о чем-то. Та отрицательно качнула головой и пошла.

В это время по дороге проходил маленький мальчик в рваном бумажном свитере и длинных голубых брюках. Увидев алые шарики на прилавке, он остановился перед будкой, глядя на помидоры. Он поглаживал рукой стриженную голову и разглядывал помидоры.

— Хочешь помидор? — спросила женщина.

— Да, — сказал он.

Он приподнялся на носках и показал пальцем на верх пирамиды. Женщина ударила его по руке, и он ушел.

Из-за поворота показался «Москвич». Увидев его, женщина стала собирать помидоры в ведро.

Машина остановилась на дороге. Она была вымыта и свежо голубела на фоне бурой воды. Блистало ее стекла, влажно чернели шины. Чистые, без единой царапины, никелированные крышки колес отражали пузатую будку, ведро и женщину с крохотной головой и громадным черным телом. Тусклым помидорным глянцем светились стекла задних сигналов.

Это была машина последнего выпуска.

Мужчина высунулся из дверцы и поманил женщину рукой. Она торопливо подхватила ведро и, подобрав юбку, быстро пошла к машине.

Мужчина вылез из машины и подошел к женщине. Она что-то сказала ему.

Он ударил ее по лицу.

Женщина отступила, стараясь не наклонить ведро. Тогда он ударил ее еще раз. Женщина поскользнулась и упала. В руке она держала ручку ведра. Она не выпустила ее при падении.

Помидоры покатились по колеи. Из рыжей воды торчали их алые макушки. Женщина встала на колени в грязь и стала собирать помидоры. Она вытирала их подолом, обнажая розовую некрасивую ногу, и осторожно опускала в ведро.

Мужчина стоял сзади и смотрел на нее. Потом он вынул из кармана бутылку, размахнулся и закинул ее в сторону будки.

Бутылка тукнулась о стену будки и разбилась.

Мужчина сел в машину, включил газ. Женщина с ведром села на заднее сиденье.

Машина покатилась, виляя из стороны в сторону, мягко приседая на новых рессорах.

1959

БУДНИ ЛОГИНОВА

Логинов и сам не заметил, как выдвинулся. Он долго работал на заводе, был бригадиром, комсоргом, исполнял все что требовалось обстоятельно и спокойно. Когда ему предложили перейти на общественную работу, он согласился не раздумывая, не считал, что это — повышение, и только немного робел вначале. У него была броская внешность молодого человека с плаката — твердое выражение лица, не то чтобы волевое, но как бы вдохновенное, и при этом не суровый, человечный взгляд. Этими чертами он, должно быть, и обратил на себя внимание, а природные спокойствие и деловитость обеспечивали успех поручениям, которые ему давали.

Новая работа Логинова была спокойная, кабинетная, без трепки нервов, без спешных сборов и поездок. Через некоторое время он получил новое назначение, и оно не внесло в его размеренную жизнь резких изменений, разве что большую часть времени он проводил теперь вне кабинета. Он встречал теперь молодежные делегации, прибывающие в город из разных стран, сопровождал их при посещении памятных мест, говорил коротенькие речи и тосты, улыбался гостям с исконной русской приветливостью, чувствуя себя вполне на своем месте.

Он стал больше следить за внешностью, сшил два отличных костюма, поставил дома застекленный шкафчик для сувениров и заботливо расставлял на полках кукол, вазочки, фигурки зверей, раскладывал подушечки с брошками, значками и брелоками. Накопление сувениров стало понемногу его тайной страстью, и он в глубине души гордился, что страсть у него такая маленькая, милая и чистая. Встречая новую делегацию, он невольно останавливал взгляд на отворотах пиджаков и кофточках гостей, разглядывая значки и предвкушая, как сам он сейчас приколет им значки, спрятанные за отворотами его пиджака. Вообще атмосфера, в которой он действовал, была приятной. Гости улыбались, сам он улыбался, к подъезду вовремя подкатывали новенькие автобусы, в холле гостиницы Логинова и его делегацию всегда ждали уютно расставленные легкие кресла, администраторы предупредительно вручали ему билеты, когда предстояло посещение театра. Логинов научился поддерживать с гостями непринужденный разговор через переводчика, ненавязчиво острить по поводу плохой погоды («вы не думайте — этот дождь не вы привезли, к нам солнце только гости привозят, а своего у нас почти не бывает»). За два года этих занятий Логинов выучил слова приветствий на семнадцати языках, и как только произносил «здравствуйте» по-испански или по-индонезийски, к нему срывались ослепительные улыбки гостей, создавалась атмосфера непринужденности и жизнерадостности, и Логинов не без оснований чувствовал себя творцом этой атмосферы.

Здоровье у Логинова было отличное, а лицо постепенно округлялось и становилось все более гладким и смуглорозовым, не выделяясь среди лиц, которые он встречал ежедневно на службе, но образуя особенный, не броский контраст с лицами толпы на людной улице. Попадая в толпу, Логинов смутно ощущал благоприятную для него отчужденность, ограниченность от нее и торопился миновать людные места.

Бытовая сторона жизни Логинова была хорошо организована, ее обеспечивали жена и теща, избавляя его от небольших сложностей и проблем, все-таки возникавших время от времени. Логинов понемногу полюбил безобидные развлечения — карты и шахматы. В карты он играл как бы шутя, как бы не всерьез, снисходя к самому себе при этом, а в шахматы — сосредоточенно, напряженно, целиком погружаясь в варианты коварных комбинаций на доске.

Логинову не было знакомо чувство утомления, сон его был спокоен и глубок, но однажды, среди легких и туманных сновидений, бесследно исчезавших из памяти, как только он просыпался, ему

приснился необычный сон — внятный, четкий, подробный. Он не растворился к утру и остался в памяти у Логинова.

В просторной комнате, где он спал, распахнулась дверь, и Логинов встревоженно привстал, стыдясь того, что он не одет, и закутывая на всякий случай жену одеялом. В дверном проеме появилась стройная смуглена девушки с раскосыми глазами, одетая в яркие ткани. У нее было строгое и, пожалуй, даже надменное выражение лица, она победно улыбалась уголками губ, глядя прямо в глаза Логинову.

Логинов засуетился, спрыгнул на пол, но тут же успокоился, увидев, что он в костюме и даже в ботинках. Он не знал, появилось ли у него соответствующее выражение, так как никогда не контролировал себя, но судя по тому, что глаза девушки стали смотреть на него более снисходительно, оно появилось.

— Здравствуйте, — сказал он девушке на незнакомом ему языке, — рад приветствовать вас в нашем городе.

Девушка что-то ответила, улыбаясь по-прежнему чуть свысока, и Логинов почувствовал неудобство и робость, словно ему неожиданно пришлось принимать делегацию у себя дома. Он понял, что надо сохранить достойный уровень в глазах смуглой девушки, и, хотя в глубине души робел, улыбался ей точно с таким же выражением, как и она ему.

Затем девушка исчезла, и в дверь хлынули потоком пестро одетые смуглые и черные люди. Они неуверенно топтались в комнате, но быстро осваивались, здоровались с Логиновым на разных языках, и Логинов им отвечал, пожимая каждому руку с подчеркнутым достоинством. Постепенно все эти люди окружили Логинова, громко разговаривая между собой и смеясь. Они как бы не чувствовали себя делегацией, не чувствовали в Логинове официального представителя и своим смехом, свободными движениями, откровенными взглядами девушек приглашали его веселиться на равных правах с ними. Это вначале смутило Логинова, главным образом потому, что ни у кого из гостей не было на груди значков и никто не хотел получить от Логинова другие значки, а для него общение легче всего могло начаться с этого. Его беспокоило также, что в комнате стоит неприбранная кровать, а на кровати лежит жена, но когда он скосил глаза в сторону кровати, то не увидел ее. Кровать исчезла кстати.

Логинов непривычно веселился в компании людей из жарких стран, чуть отводя глаза от влажных ртов девушек, и не потому, что они не нравились ему, а потому, что первая девушка оставила в нем слишком глубокую память о себе, — он чувствовал себя как бы предназначенным ей. Лавируя между танцующими гостями, Логинов осторожно искал ее взглядом, но не находил, и не решался спрашивать, куда она исчезла. От этого он испытывал необычно сильную тоску, смешанную с весельем, и, когда к нему подошли две-три девушки, обволакивая его праздничной интимностью, он решился спросить, кто была она, рассчитывая после этого ее отыскать.

— О, она... — ответили девушки с загадочным уважением, — она... — и, не договорив, исчезли. Он будто бы сам покинул их, но почему он не дослушал ответ девушек относительно той изжелта-смуглой девушки с раскосыми глазами, почему оставил гостей, этого он не понял. Он очутился на освещенном солнцем лугу подле белой деревенской печи, одиноко стоящей перед ним. Печь была не старинная, с плитой. Как только Логинов посмотрел на затененную трубой поверхность плиты, он увидел множество наручных часов, как будто кем-то брошенных в спешке. Тут были и мужские, и женские часы, разных марок, новые и поношенные. Логинов поднял одни часы с потрескавшимся стеклом и засаленным ремешком, поднес их к уху и услышал мелкое тихое тиканье. Этот звук родил в нем чувство беспомощной жалости к часам, к которому тут же присоединилось другое: он знал теперь, что все эти часы принадлежат ему, но не задумывался, почему они ему достались, каким путем и что все это может означать. Он только чувствовал эту жалость, чувствовал, что часы беззащитны, словно это были не приборы, а люди, и чувствовал, что все часы — его, и не знал, что ему с ними делать. Он будто бы получил то, чего вовсе не

хотел, и теперь созерцал совершенно ненужные ему предметы, хранящие зримые следы принадлежности каким–то неведомым ему людям. Логинов проснулся с чувством недоумения и жалости.

Он не имел пагубной привычки анализировать свои ощущения, а тем более — сны, и отправился на службу как обычно. Встретил делегацию, отвез ее в гостиницу на встречу с другой делегацией, вернулся. Вечером пришли гости, немного пили и потанцевали, ушли поздно. Логинов лег спать, а ночью, как это иногда бывает, сон повторился.

Логинов не узнал сон во сне, но утром, перед тем как проснуться, подумал, что видит этот сон второй раз подряд. Он не стал задумываться над совпадением, забыл про него тем более легко, что сон был вовсе не кошмарный. Однако сон повторился и следующие несколько ночей, совершенно неизменно, словно Логинов смотрел один и тот же фильм с собственным участием. Не замечать этих повторений он уже не мог, но уделять им внимание не хотел, так что на службе он не помнил про сон и, как всегда, спокойно занимался своим делом. Вечером же он вспоминал о своем сне и в глубине души побаивался, что он опять повторится.

Сон действительно повторялся. Инстинктивное невнимание Логинова привело только к тому, что теперь он видел свой сон как бы конспективно, в тезисах. Он словно наскоро пробегал глазами собственные записи перед каким–то экзаменом, а утром забывалочные впечатления, пользуясь тем, что никакого экзамена ему не нужно сдавать.

Тот же инстинкт заставлял Логинова никому не рассказывать про сон, и он втайне радовался, что удержался от искушения рассказать его жене. Он стал с некоторых пор значительно активнее проявлять себя на службе, вникал в мелкие административные вопросы, которыми прежде не интересовался, он более заботился теперь о качестве шуток и о стиле приветственных речей. Не желая интеллектуально отставать от жизни, он спросил жену, каких современных писателей ему стоит почитать, жена посоветовала Казакова и Аксенова, и он их прочел. Затем ему захотелось помочь жене по хозяйству, и с тех пор, возвращаясь со службы, он делал необходимые закупки по списку, который давала ему жена. При этом он не позволял себе догадываться, что ищет новых забот из–за своего сна, как бы прячется, уходит от него.

А сон все повторялся. Временами Логинов совершенно о нем забывал, временами совсем некстати в памяти всплывали подробности сна: однажды он вспомнил, что все часы показывали разное время, в другой раз — что первая девушка исчезла в стене и сам он как будто прошел сквозь стену, когда оказался на лугу, залитом солнцем. Иногда дневные впечатления вдруг вызывали в памяти сон: то стройная смуглая девушка–азиатка, то пожелтевшее стекло часов на руке прохожего. Но все эти впечатления не были навязчивыми, потому что чувства, которые Логинов испытывал днем, не имели ничего общего с переживаниями во сне. Несколько раз ему приходила на ум мысль почитать научные объяснения снов, но он инстинктивно опасался, что такое чтение сосредоточит его внимание на сне, заставит его держать сон в сознании.

Как это обычно бывает, когда мы сопротивляемся какому–нибудь впечатлению, воспоминания о сне все чаще возникали в сознании Логинова. Нужно было что–то предпринимать, и совершенно самостоятельно.

«Ну ладно, — думал в таких случаях Логинов, — ну хорошо, пусть он продолжает мне сниться, главное — не надо думать, будто у меня что–то испортилось в голове. Что–нибудь случится, повернется, и все пройдет. Могу же я на самом деле не обращать на это внимания. Я же не помню все дома, столбы, лица, которые вижу каждый день на улице. Они сами по себе, а я сам по себе, пусть так и будет».

Логинов не знал, что его сон совсем иной природы, чем простые зрительные впечатления. Он не хотел думать, уклонялся от мысли о том, что сон не лишен некоторой, пусть даже нелепой, логики и что

сила внушения, испытанныя им, появилась не зря, не просто так. Он еще не наблюдал за своим поведением, но стал задерживаться на службе под разными предлогами, искал себе дела, старался утомить себя, забыться, но чем более он был утомлен и чем крепче спал, тем отчетливее снился ему сон, и он боялся удивиться несоответствию между средствами и целью. Его обнадеживало, чтоочные переживания все-таки не выдерживали силы и разнообразия впечатлений дня, не переходили в дневное сознание, и беспокоило только регулярное повторение — «дежурство», как он думал, — сна.

Среди сослуживцев Логинова был человек, с которым он обменивался при встречах знаками легкой приязни, хотя и не сходился с ним ближе. Человек этот, по фамилии Арцеулов, был по характеру гуляка, а поэтому пребывал чаще всего в расположении поболтать и пошутить с кем придется, чтобы скоротить рабочее время. Логинов встретил Арцеурова в коридоре и нечаянно проговорился между прочим, что видит несколько ночей подряд один и тот же сон.

— Нервочки пошаливают? — с участием предположил Арцеулов. — Ты, старик, работай, да не зарабатывайся.

— Да нет, в порядке нервы, — ответил Логинов.

— Еще бы, у тебя, да не в порядке, — смеясь, сказал Арцеулов. — Вон какую морду наел!

— Да и ты не дистрофик, — хмуро отшутился Логинов.

— А что же делать, а? — озабоченно спросил Арцеулов. — Может, все-таки к доктору?

— К кому?

— Ну, к этому, к психопату!

— Боюсь я их, — сказал Логинов, — еще что-нибудь отыщут... К ним только приди.

— А ты к нашему, — предложил Арцеулов. — Наш — умный, в курсе всех руководящих заскоков. Даст тебе электросон, и будь здоров!

— Нет у меня заскоков, — устало сказал Логинов, жалея, что проболтался.

— А раз нет, едем за город! Развеемся. Бабец для тебя найдется — во! — И Арцеулов показал коротенький палец.

— Да я не любитель... — кисло ответил Логинов.

— Сделаем из тебя любителя! — с нарочитой серьезностью пообещал Арцеулов. — Сколько на твоих? Порядок! В девятнадцать ноль-ноль по твоим. — Он щелкнул каблуками и удалился вихляющей походкой.

Разговор с Арцеуловым навел Логинова на мысль, что правильнее всего относиться к своему сну насмешливо, принимать его как чью-то затянувшуюся шутку вроде звонков по телефону, когда тебя спрашивают: «Это зоопарк?», а ты отвечаешь: «Нет, похоронное бюро». Такие шутки были в ходу у молодых сотрудников. Он, кроме того, решил поехать с Арцеуловым.

Позвонив домой, он сказал, что задержится на службе, что, может быть, заночует у сослуживца, а в семь часов на пороге кабинета появился Арцеулов, деловито постучал по запястью и молча кивнул в сторону коридора.

У решетки сада стояла черная «Волга». За рулем сидел капитан-лейтенант, поглядывая в сторону Арцеурова и вертя ручку настройки приемника. На заднем сиденье, поджав ноги, полулежала девушка в гладком платье. Она подвинулась, освобождая место Логинову, Арцеулов сел на переднее сиденье, назвал Логинова, капитан-лейтенант пробормотал свою фамилию, включил скорость, девушка, не глядя на Логинова, внятно произнесла: «Лена» — и опустила голову на грудь.

По дороге слушали музыку, смешанную с треском разрядов. Логинов поглядывал на девушку, соображая, чья она — моряка или Арцеулова. Девушка, вероятно, догадывалась о мыслях Логинова и, умело играя лицом, запутывала его в предположениях. Когда Логинову наскутила игра, он откинулся на спинку и придал лицу непроницаемое напряженное выражение, так хорошо защищающее людей определенного типа от вторжений внешней суеты.

Моряк остановил машину перед каменной дачей, открыл своим ключом ворота и подвез гостей к веранде. Выглянули две девушки в передниках, кивнули, исчезли в доме. Логинов отметил про себя, что дача обжитая, богатая. Он сам подумывал о том, чтобы построить себе такую, но знал, что нахрапом этого не сделаешь, такие дачи обживают и совершенствуют два—три поколения. Оглядывая неприбранный, лохматый сад и почерневшие дорожки, он подумал, что недавно эту дачу перестали обживать и теперь кто-то, не чувствующий себя хозяином, выжимает из нее созданное прежде благополучие.

Выскочив из машины, Арцеулов принял шутить, подталкивая Логинова к веранде и ловя свободной рукой локоть девушки, приехавшей с ними. Логинов поддавался Арцеулову, доверяясь его интуиции гуляки, всегда направленной к тому, чтобы установить между малознакомыми людьми ни к чему не обязывающую непринужденность отношений. Логинов знал, что сам—то он держится благодаря равновесию и удачной внешности, и, никогда не признаваясь в этом, глубоко уважал дар общительности Арцеурова, легко заменяющий усилия, какие самому ему пришлось бы прилагать.

На веранду вышли девушки из дома, Арцеулов подтолкнул к ним Логинова и сказал, смеясь:

— Вот, смотрите, сановника привез. Видали когда—нибудь такую морду? А ведь все от смущения. Вы думаете, он важный? Нет, он застенчивый...

— Это у вас какой значок? — спросила девушка с осветленными волосами, коснувшись узким ногтем пиджака Логинова.

— Это — ЮНЕСКО, — ответил Логинов.

— А-а, — сказала девушка и ушла вместе со второй на кухню.

Арцеулов скользнул следом, вернулся, заманчиво улыбаясь Логинову, наступая на него, оттеснил к низкому креслу, сел на соседнее, участливо спросил:

— Голодный, поди, как слон? Потерпи, сейчас навалимся. Там девчонки готовили такой цимус!

Вернулся моряк, открыл холодильник, поставил на столик две бутылки коньяку. Молчаливая Лена принесла с кухни стаканы и сифон. Понемногу на веранде собирались все. Девушки расставили закуску на двух маленьких столиках, сели на низкую тахту в свободных позах, держа в пальцах рюмки с коньяком. Арцеулов притих. Моряк рассеянно играл маленьким перламутровым ножиком, Логинов подождал, пока другие начали закусывать, придинул к себе теплую курицу, отломил ножку и принял жевать, непроницаемо поглядывая по сторонам. Он уже освоился здесь, только немного жалел о том, что все происходит обыкновенно—спокойно и никакой встрияски, обещанной Арцеуловым, не может быть.

После нескольких рюмок Логинов ощущал, что установилась атмосфера ровной взаимной приязни. Арцеулов рассказал новые московские слухи, моряк, оказавшийся заводским инженером, понизив голос, сообщил какие—то сведения, о которых не пишут в газетах, и Логинов тотчас привычно забыл их, хотя слушал внимательно. Девушка, к которой прежде подвел его Арцеулов, подошла сзади, оперлась на спинку кресла и принялась расспрашивать об иностранцах. Включили магнитофон, танцевали при свете зеленого глазка, пили кофе и снова коньяк. Арцеулов рассказывал анекдоты.

Логинов отяжелел, его клонило ко сну. Он чувствовал, что его лицо помимо воли становится непроницаемым, а взгляд — давящим. Он стеснялся своего состояния, но поделать с собой ничего не мог.

Чтобы хоть немного освободиться от сонливости, он стал наблюдать, тяжело взмахивая веками, как девушка, пересев в соседнее кресло, старается привлечь его внимание и понравиться ему.

Девушка покачивала ногами, разводила плечи, касалась пальцами волос, чуть заметно вздрагивала, обратив к Логинову профиль. Потом подняла руки, как бы потягиваясь, закинула голову и неожиданно уронила руки вперед, обдав Логинова теплым воздухом. Он увидел в вырезе кофточки чуть белеющую грудь и одновременно вдохнул едва уловимый аромат духов. Преодолевая лень, он вспомнил прикосновение тела девушки во время танца и пожалел, что темно.

Моряк зажег витые свечи в самодельном подсвечнике из цветной пластмассы и медной проволоки. Логинов смотрел на полузакрытые глаза девушки, на приоткрытые, в меру полные губы, чуть поблескивающие теперь, и медленно думал о том, что он, конечно, поступает нечестно, не принимая участия в игре, что девушке скоро станет трудно, она утомится прежде времени и проснется утром в беспринципально плохом настроении. Логинову не хотелось ее мучить, однако он продолжал безучастно наблюдать ее движения с жестокостью ленивого человека, недавно пережившего некоторое подобие ада. Он и сам не знал, что поступает именно так, но почувствовал это, когда Арцеулов, блеснув глазами в его сторону, громко сказал:

— Эй, Логинов, ты не спиши ли?

— Нет, — отозвался Логинов. — Я... мы просто отдыхаем.

— Ты смотри не спи, — продолжал Арцеулов, — а то увидишь свой кошмар, начнешь кричать, напугаешь девушек.

— Какой кошмар? — спросил моряк.

— Пусть он сам расскажет, — сказал Арцеулов. — Ему несколько ночей снится один и тот же сон.

— Какой сон? — с интересом спросил моряк. — «Все тот же сон?»

— Не стоит рассказывать, — ответил Логинов, — ничего интересного, а мне он надоел.

— И что же, — спросил моряк, — каждую ночь, без вариантов? Он, наверное, связан с одинаковыми впечатлениями вашей жизни?

— Немного — да, — сказал Логинов, — но это не переутомление.

— Вам, наверное, снится сон со значением, — сказал моряк.

Логинов пожал плечами.

— Простите, вы какого происхождения? — снова спросил моряк.

— Как говорится, рабоче-крестьянского, — отозвался Логинов с небольшим нажимом, надеясь, что моряк перестанет спрашивать.

— Если бы вы рассказали ваш сон, — задумчиво сказал моряк, — я попытался бы вам его истолковать... У меня есть на службе товарищ, он кое-что мне объяснил на эту тему.

— Да нет, что вы... — веско ответил Логинов, скрывая за тоном ответа страх и досаду. — Я не придаю этому значения, а психологией не интересуюсь. Это Арцеулов заводит... — И, не желая обижать Арцеурова, он закруглил фразу: — ...заводит нас в психологический туман.

Арцеулов расхохотался.

— Есть предложение продолжать сначала! — крикнул он. — Кто «за», поднимите руки.

Логинов первым поднял руку, со скрытым удовольствием предвкушая перемены. Моряк нагнулся над

холодильником, извлек из него одну за другой три плоские бутылки с желтоватой жидкостью, Арцеулов включил на полную мощность магнитофон, девушки убрали со стола тарелки и принесли свежую закуску.

Напиток оказался очень крепким, две рюмки взбодрили Логинова до дневного состояния и выбили из головы пробудившуюся ранее цепкую тревогу. Танцевали, меняясь партнершами, пели «в огороде бабку», валяли дурака. Логинов, без пиджака, с засученными рукавами, отплясывал, мыча, что-то умопомрачительное. Арцеулов хохотал, притоптывал в такт, отбивая слабую долю выкриками:

— Не спать! Не спать! Не спать!

— Не усну! — кричал Логинов, выделывая коленца. — Давай спорить — не усну!

— На что? — спросил вдруг Арцеулов.

— На полета! — крикнул Логинов, кружась вокруг собственной руки, согнутой колечком.

— Разнимай, капитан! — крикнул Арцеулов.

Логинов приплясал к Арцеулову, протянул к нему руку, не сохранил равновесия и упал на него, обнимая за шею. Моряк откликнулся с тахты:

— Разнимаю!

— Девушки, вы свидетели! — крикнул Арцеулов.

Девушки лежали в креслах, уронив головы. Услышав Арцеурова, они вздрогнули, закивали головами и устроились в креслах поудобнее. Логинов отпустил Арцеурова, тяжело поднялся, подошел к столу, выпил еще рюмку и устроился в кресле рядом с девушкой.

Кто-то выключил магнитофон. В стеклах веранды кружился, мутнея, предутренний свет.

— Я не усну, — медленно выговаривая слова, сказал Логинов. — Только вы не давайте мне спать. — И он погладил растопыренными пальцами плечо девушки.

— Я не дам тебе спать, — приложив губы к уху Логинова, сказала девушка.

Логинов изогнул шею и поцеловал девушку в губы.

— Жизнь есть сон... — проговорил моряк, ворочаясь на тахте.

— Не философствуй, капитан, — отозвался Арцеулов, — скука...

— Но сон не есть жизнь... — не обращая на него внимания, продолжал моряк. — Сон есть переходное состояние между жизнью и смертью... Раньше не говорили «умер», говорили «уснул», «успокоился». Вас не смущает, Логинов, эта тема?

— Ладно, тема как тема... — ответил Логинов, — я плохо понимаю.

— ...А смерти нет, — сказал моряк. — Мы ничего не знаем о смерти... Никто еще не умер.

Скажи лучше — никто не жил! — крикнул Арцеулов.

— Этого мы не знаем, — спокойно возразил моряк. — Мы даже не знаем, когда мы спим и когда живем... Не хотим знать. Нам это невыгодно, правда, Арцеулов?

— Мне выгодно спать с Лерой, — смеясь, сказал Арцеулов.

Девушка шикнула на него.

— ...Все, что люди почувствовали и поняли, все, что они сделали, остается, — продолжал моряк. — Остается все, что они пережили... Поэтому — слышишь, Арцеулов? — людей не надо убивать и, в особенности, мучить. От этого живущим остаются неприятные переживания...

— Да, да, нужно быть гуманными... — дурачясь, сказал Арцеулов.
— Да, нужно быть гуманным, — подтвердил моряк.
— Мир и дружба, — поддразнивая, сказал Арцеулов.
— Да, мир и дружба, — серьезно сказал моряк. — Мы работаем на мир и дружбу...

Эти слова просочились в затуманенное сознание Логинова, и он стал напевать про себя: «мир и дружба», «мир и дружба», «мрмрмыридр».

Моряк умолк. Девушка, с которой он сидел на тахте, сказала:

— Поговори еще, Кира...

— Ну вот... — сказал моряк, помолчав. — Есть ли смысл у жизни? Мой начальник, генерал, говорит: есть. В том, чтобы носить брюки, пить, есть... ну и вообще. Победа здравого смысла над превосходящими силами противника... А превосходящие силы — все, что было, и все, что будет. Генерал побеждает потому, что не желает ничего знать... Ну, ладно... В двадцатом столетии замучили много людей, и все их мучение осталось. Ничего интересного: боль, глупость, страх, подлость, горе... Надо быть бревном в сапогах, чтобы этого не ощущать. А внимание обращать на это бессмысленно. Бесполезно. Был бы я не такой умный, приснился бы мне сон со значением. Сон ведь — в картинках, как кино... Знал бы я тогда, что мне делать, как мне жить, в чем моя беда... Картинки бы все показали... Вот что такое — не везет. Предки мои неверующие, красная профессура, сам я ни во что не верю. Душа не простая... Везет же некоторым дуракам!

— Слышишь, Логинов? — спросил Арцеулов.
— Что? — вздрогнув от оклика, сказал Логинов. — В чем дело? Я хочу спать...
— Эх, Кирилл, — с насмешливым укором сказал Арцеулов, — чуть-чуть не заработал мне полета...
— Полета? — переспросил Логинов. — Это ты заплатишь мне утром...
— Ты, Зина, щипай его, чтобы я пропорил! — крикнул Арцеулов. — Иначе уснет!
— Не усну... — пробормотал Логинов. — Только... вы меня не будите...

Арцеулов рассмеялся. Логинов не спал и даже не дремал, опьянение подействовало на него неожиданно удачно: оно подпирало его изнутри, сохраняло некоторую бодрость, помогало отталкивать впечатления, которые могли быть сейчас ему неприятны. Девушка, прижимаясь к нему чутким боком, вздрагивала всякий раз, когда его тело начинало оседать.

— Везет же дуракам, — ни к кому не обращаясь, повторил моряк. — Но дурак и есть дурак, ничего-то он не понимает... Уверен, что нашему генералу снятся сны со значением, а он как-то умудряется их не смотреть. Наверное, закрывает во сне глаза... Жизнь — сон, а сон — без смысла... И боязно жить, непонятно, куда... Может быть, и это сон со значением, только мы не умеем читать? А если б умели! Ух, какие мы некультурные люди! Смерти боимся, а ведь мы бессмертны, только находимся в переходном состоянии и держимся за него, как пьяный за стенку! Поддерживаем его... Засоряем жизненное пространство. Это же — проникающая радиация, вот что это! Надо читать сон со значением и отнимать пространство у страха, пыток, боли... Надо читать, читать...

«Хорошо тебе, философ...» — с трезвой злостью вдруг подумал Логинов, отпихивая от себя мучительную память. Девушка отпрянула от него и, когда он успокоился, снова прижалась, скользя нервными пальцами по его плотной руке.

Арцеулов встал, подал своей девушке руку и, нечетко храня равновесие, повел ее внутрь дома.

— Идите в гостиную, — сказал моряк.

— А вы где? — шепотом спросил Арцеулов.

— Тут останется он, — моряк кивнул на Логинова.

— Правильно, — сказал Арцеулов, — тут посвежее. Пусть воздухом подышит. Порядок... Эй, сановник! Смотри не спи! — Он погрозил Логинову пальцем и вышел, обнимая девушку сзади за плечи.

Логинов поднялся с места, ощущая, что ноги держат его плохо. Моряк еще не освободил тахту, он наклонился над девушкой, наверное, давал ей пить. Наконец она встала, оправляя платье, и вышла. Логинов подумал, что вообще-то нехорошо стоять и ждать, пока хозяин освободит территорию, поэтому он плюхнулся в кресло, чуть не толкнув девушку. Моряк повернулся голову на шум, улыбнулся Логинову и сказал:

— Вам осталось потерпеть часа два-три, и полсотни ваши.

— Постараюсь, — ответил Логинов, с трудом раздвигая губы, чтобы улыбнуться в ответ.

Моряк посмотрел на свет бутылку, взболтнул жидкость, поставил бутылку на столик, показав Логинову, что она не пустая. Логинов кивнул. Он проводил взглядом моряка и остался сидеть в кресле.

Девушка, потирая виски, прошлась по веранде, остановилась против света, чуть отставив ногу и выдвинув грудь. Логинов вспомнил, что видел такую позу в каком-то журнале. Он наблюдал девушку помимо воли, опасаясь только того, что она может обидеться. Однако девушка как будто не чувствовала взгляд Логинова. Она поправляла прическу, плавно поднимая и опуская руки, повернулась к Логинову спиной, нагнулась, разогнула тело, поворачиваясь в профиль, легко прошла, покачивая бедрами, между креслами, резко опустилась на тахту, сильно обнажив ноги, наклонила голову, будто задумавшись, тряхнула волосами и, глядя полузакрытыми глазами на Логинова, стала расстегивать непослушную пуговицу.

Движение пальцев девушки задело Логинова. Он привстал и тяжело, по-медвежьи, двинулся к тахте, видя в глазах девушки манящий испуг.

Через час совсем рассвело. Девушка тихо дышала, обнаженное матовое плечо заслоняло от Логинова свет. Он думал, что она спит, и водил взглядом по линии ее шеи, упираясь в темные у основания пряди волос на затылке. Вместе с отрезвлением он чувствовал усталость и, чтобы развлечься, искал следы усталости на лице девушки. Две рюмки, выпитые подряд, не взбодрили Логинова, наоборот, почти совсем погрузили в забытье. Но как только его рука отяжелела, девушка вздрогнула, быстро повернулась к нему лицом, оперлась на локоть и ласково сказала:

— Слышишь, не спи!

— Я не сплю, — пробормотал Логинов.

— Не спи, пожалуйста, — повторила девушка.

— Не беспокойся, я не усну, — внятно сказал Логинов. И добавил, чтобы убедить ее в своей бодрости:

— У тебя вон там, за ухом, маленькая родинка...

— Да... — сказала девушка. — И еще одна под волосами, на виске.

— Этую я не вижу, — сказал Логинов. — Будь спокойна, я не усну.

— А ты не обманешь? — спросила девушка.

— Ты, наверное, сама хочешь спать? — сказал Логинов, глядя расширенными глазами в голубоватый потолок. — Посмотри, как у меня открыты глаза... Они не закроются.

— Я испугаюсь, если ты уснешь, — чуть слышно прошелестело у него в ушах.

«Она просто боится...» — подумал Логинов, находя объяснение ее поступкам во всю эту ночь. Он протянул руку, нащупал плечо девушки и принял легонько его поглаживать. Плечо дрожало некоторое время, затем успокоилось, и Логинов с удовлетворением подумал, что девушка наконец уснула. Теперь никто ему не мешал.

Скрипнула дверь веранды. Логинов привстал, не зная, спал он или нет, и надеясь, что, если даже он спал, этого не заметили. На пороге встала девушка, о которой он сначала подумал: «Лена». Но это была другая девушка, незнакомая. Стыдясь наготы, Логинов потянул на себя простыню, потом быстренько завернул жену одеялом и опустил ноги на пол. Желтолицая девушка с раскосыми глазами смотрела властно и надменно, как бы не зная, казнить ей Логинова или миловать. Логинов успокоился, увидев на себе костюм. Он шагнул вперед, отводя согнутую для приветствия правую руку и открыто улыбаясь с тайной робостью, с коротеньkim страхом, что девушка не подаст ему руки. Однако он был представитель, и что бы девушка ни думала, она ответила на его приветствие крепким и гордым рукопожатием. За нею хлынула в комнату пестрая веселая толпа.

Логинов оглянулся с тоской о непорядке, увидел с облегчением, что кровати нет, и принял пожимать гостям руки; погружаясь в тревожную атмосферу чужого праздника, на который пригласили и его.

Потом он беспокоился, что первая девушка куда-то исчезла, — боялся спросить и беспокоился, жалея, что приниженная радость, с которой он ее встретил, заволакивается грустью. Вторая часть сна ослепила его белизной печи, блеском солнца и яркой зеленью травы, а часы, разбросанные на поверхности плиты, сжали сердце непонятной горечью и болью о чем-то, что было бессмысленно погублено. Разглядывая и беря в руки маленькие механизмы, он испытывал прикосновение тихой и беззащитной ласковости, щемящей сердце, он пытался погрузиться в это чувство, выделяя его среди других и зная, что просыпаться не нужно. Но чувство не давалось, ускользало, чтобы снова едва согреть его тихой беспомощной радостью и отлететь. Затем Логинов увидел как бы весь сон сразу. Он охватывал все события сна с первого до последнего каким-то непостижимым способом, точнее, они охватывали его, сливаясь в одно ощущение, слишком сложное для него, чтобы Логинов мог осознать последовательность картин. Это состояние тем не менее успокоило его.

— Не спи! Не спи! Не спи! — шепотом кричала девушка, стуча кулаком по волосатому плечу Логинова. — Не спи же! Ты проспоришь! Не спи!

Она попыталась приподнять пальцами его веки, отдернула руки, сжалась в комочек на краю тахты, жалобно кивая головой и судорожно глотая воздух, закрыла ладонями глаза и закричала.

В доме хлопнули двери. На пороге появились моряк в трусах и Арцеулов в цветастом халате.

— У-у-умер! — выкрикнула девушка, захлебываясь слезами. — У-мер! Умер! А-а...

Моряк, размашисто ступая, подошел к тахте и склонился над Логиновым. Арцеулов, следя за его движениями, вздохнул и сказал невпопад, встревоженно качая головой:

— Над пропастью во лжи...

— Что теперь делать? — спросил моряк.

— Лучше отвезти его в город, — сказал Арцеулов. — Будет спокойнее.

— Да, но ведь спросят, где это случилось? — возразил моряк.

Арцеулов посмотрел на часы.

— Раз так, давайте выснимся как следует, — предложил он, удерживая челюстями зевок. — Надо отдохнуть перед хлопотами...

— А его? — спросил моряк.

— А что с ним теперь сделается? — сказал Арцеулов. — Успокоился... Не так ли, капитан?

— Ну, хорошо, — сказал моряк. — А вы...

Девушка всхлипнула сквозь ладони и не ответила.

Арцеулов дотронулся до ее плеча.

— Умер! Умер! Умер! — крикнула девушка, содрогаясь. — А-а... О... Умер!

— Дай ей воды! — сказал моряк.

Девушка отказалась от воды, утихла, отвернулась от мужчин, всхлипывая, протянула к Логинову руку и стала водить ею по его телу, чуть касаясь кожи ногтями.

Мужчины еще помешкали на пороге и вдруг вышли на цыпочках, тихонько прикрыв за собой дверь.

1964

НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ

Вечером, открыв почтовый ящик, я обнаружил в нем документы: паспорт на имя Ландышевой Ирины Ивановны и квитанционную книжку для уплаты за квартиру. Хотя я столкнулся с таким случаем впервые, я понял, что кто-то украл сумочку, забрал деньги, а документы подбросил.

Поднявшись к себе, я сел за стол и положил перед собой документы. Посмотрев ее адрес, я подумал, где могла произойти кражи: жила эта Ландышева далеко, совсем в другом районе, так что и подбросить документы могли издалека. Карточки в паспорте не было, на ее месте лежал толстый слой темного клея.

Я знал, что существуют специальные ящики для найденных документов, и хотел было пойти поискать такой ящик, но что-то меня остановило. Ведь вор, в сущности, именно этого и хотел от меня. Я представил myselfально, что было бы, если бы документы оказались не в моем ящике, а в каком-либо другом. Скорее всего, владелец ящика тоже не стал бы обращаться в милицию.

За тонкой перегородкой в соседней квартире раздался крик:

— Мишка, отстань!

Мишка... Может быть, это он? Только он и знал, что я в отъезде. Надо было проверить предположение. Я вышел на площадку и закурил. Через минуту из соседней квартиры выскочил растрепанный Мишка.

Увидев меня, он поправил рубаху и сообщил:

— А мы тут с Танькой задрались!

— Драться нехорошо, — сказал я.

— Она первая полезла, я ее не трогал, — сказал Мишка.

— Врешь, трогал! — крикнула из-за двери его сестра.

— Ладно, помиритесь, — сказал я, — будет вамссориться!

— Закурить есть? — спросил Мишка.

Я протянул ему пачку.

Когда он сделал затяжку, я сказал:

— Мишка, мне нужна фотокарточка.

— Какая? — спросил он, поперхнувшись дымом.

— С паспорта.

— У меня нету!

— Куда ты ее дел?

— Выбросил.

— Сколько было денег в сумочке?

— Рублей восемь... — Мишка с надеждой поднял на меня глаза: — Вы в милицию не пойдете?

Вот ведь какая досада, в самом деле! Я совсем не учел, что такой вопрос может возникнуть.

— А меня ты в какое положение ставишь? — спросил я.

— Да я не украл, — сказал Мишка. — Она уронила, а я подобрал на американских горках... в воскресенье...

— Что ж не отдал?

Мишка потупился и чертил на полу носком туфли какие-то фигуры.

— Тебе были нужны деньги, — сказал я.

Мишка кивнул.

— Что ж у меня-то не спросил?

— Вас не было дома, — вздохнул Мишка.

— Ну, ладно, — сказал я. — Принесешь фотокарточку, при克莱им на место и вернем документы.

— Карточку я не дам, — сказал вдруг Мишка.

— Это почему? — спросил я строго.

— Нравится очень... красивая... — прошептал он.

— Ты же испортил паспорт, документ, — сказал я. — Понимаешь?

— Ну и что, — сказал Мишка. — Новый дадут...

Только я настроился отдохнуть, как с улицы меня окликнули по имени. Высунулся из окна. На тротуаре стоял знакомый — не близкий, настолько, что я не смог вспомнить его имени.

— Приветствую вас!

— Здравствуйте.

— Чем заняты?

— Да ничем. Вот вернулся из командировки.

— К вам можно?

— Заходите...

Пока он поднимался по лестнице, я пытался вспомнить, как его зовут, но не смог, вспомнил только, что он математик. И до чего же некстати гость: в квартире не прибрано, угощать нечем...

Он вошел, я усадил его в кресло, посидели, помолчали. Говорить было решительно не о чем, слишком

мало знакомы. Гость скучал — и зашел—то, видно, от скуки.

— Мне подбросили документы, — сказал я, — вот, полюбуйтесь...

Гость подержал документы в руках.

— Вам удалось узнать, кто украл?

— Да, случайно, — ответил я. — Вы ведь, кажется, математик? Вот попробуйте определить, кто украл.

— Ну-у, — сказал математик, — во—первых, документы лежали в вашем почтовом ящике. Это значит, что кражу совершил дилетант. Профессиональный вор не стал бы их подбрасывать. М-м... он очень молод?

Я кивнул.

— Он живет где—то поблизости, — продолжал гость. — Он вас знает?

Я снова кивнул.

— Он должен был оставить какую—ту улику, которая навела вас на след... Паспорт... В паспорте нет фотокарточки! Все понятно: воришке понравилось ее лицо.

— Настолько, — сказал я, — что он не хочет отдавать снимка. Не знаю, что делать... Как бы вы поступили на моем месте?

— Не трогайте мальчишку, — сказал гость, — мир не переделаешь. У каждого человека есть своя траектория, которой он неуклонно следует. Ваш воришка только начал ее. Он живет по нарастающей и, так сказать, находится в расцвете творческих сил. Эта кража должна сойти ему с рук и окрылить его на будущее. А вы ввязались в его сюжет в самом начале, когда он чувствует свою силу, свое право.

— Жалко парня, — сказал я.

— Не жалейте. Он вас не пожалеет...

— Вы считаете его таким сильным? — спросил я.

— Мужская особь, — сказал гость, — обладает резервом жизненных сил, который хранится, пока нужда не придет. Структура современного мира — результат активности мужчин. В научно—популярной литературе мужчин называют слабым полом, но это чистейшая чепуха. Говорят, что женщина иррациональна и аналогична, но куда ей во всем этом до мужчины! Мужчина постоянно берет верх над женщиной и подчиняет ее себе. Обычно он действует хитростью, но в опасный момент берет грубой силой... Понимаете, они все одно целое, мужской монолит. Индивидуальны только параболы, остальное — общее.

— Что ж поделаешь — соседи... — сказал я.

— Не связывайтесь с ними ни по добру, ни по худу.

— Заходите еще, — сказал я ему.

— Хорошо, — ответил он, пожал мне руку и ушел.

Я устал за день, клонило в сон. Наверное, я задремал, потому что мне показалось, что в передней долго и настойчиво звенит звонок. Я вскочил с тахты и подошел к двери.

— Кто там?

Сдавленный голос за дверью проговорил:

— Савельев.

Я открыл дверь. На пороге стоял франт в темном костюме, в свежей рубашке, с «болоньей»,

небрежно переброшенной через плечо.

— Не узнаешь?

Я уставился на него, стараясь припомнить, где мы встречались.

— Правда, не узнаешь? — спросил Савельев. — Ну и ну! Стыдно друзей забывать!

— Друзей? — переспросил я.

И вдруг вспомнил: мы жили с ним в одной комнате в общежитии, в последний университетский год.

— Заходи, Володя, — сказал я.

— Вспомнил, слава богу, — довольно произнес Савельев, переступая через порог. — А я тебя ищу-ищу... Как тебя занесло в такую даль?

— Сам не знаю, — ответил я. — Чаю хочешь?

— Давай, — сказал Савельев и двинулся за мной на кухню. — Слушай, — продолжал он, — ты что же это так невидно живешь?

— Это в каком смысле? — спросил я.

— Ну, не видно тебя и не слышно. Диссертацию защитил?

— Защитил, — сказал я. — А что?

— И я защитил, — обрадованно сказал Савельев. — Только вчера. Теперь мы с тобой — кандидаты наук!

Он произнес это с таким выражением, словно мы с ним достигли наконец земли обетованной.

— А радуешься как ребенок, — сказал я, зажигая газ.

— И не говори! Я так рад, так рад...

— А что, были серьезные препятствия?

— Страшные, — сказал Савельев, — я, собственно, пришел тебе рассказать. Только прежде напьемся чаю. Я, кроме чаю, ничего не пью, а ты?

— Я еще кофе.

— Спиртного ни-ни! Берегу голову, — сказал Савельев. — Мне голова теперь знаешь как нужна!

— Зачем? — спросил я.

— Получил лабораторию. Низших животных. Петров уходит на пенсию, я вместо него.

— Тогда поздравляю, — сказал я. — Теперь ты большой человек.

— Я пережил такое, что тебе и не снилось, — сказал Савельев. — Ты помнишь, конечно, что я был женат?

— Ну, допустим, — сказал я. Это была неправда, так как сразу после университета я потерял Савельева из виду.

— Жену ты мою знаешь, — продолжал он. — Женщина!

Я кивнул.

— Мы развелись, — сказал Савельев. — Десять лет супружеской жизни списаны со счета.

— Что ж вы раньше-то не расстались? — спросил я.

— А, милый мой, — сказал Савельев, — работа! Попробуй-ка управься один. Тут и опыты, и литература, и обедать надо, и белье стирать! Потом, понимаешь, у меня диссертация на носу, а она вздумала ребенка рожать.

— Это ее право, — сказал я.

— Не перебивай, слушай! Я ей говорю: делай аборт, потому что иначе никак. Она говорит: «Тогда я уйду!» А у меня решающие месяцы. Выбиваюсь из сил. И тут она уходит к родителям. Остаюсь совсем один. Думаешь, она не понимает? Понимает отлично. А я работаю как лошадь... Ну вот, остается два месяца до защиты. Она приходит: давай развод. Я ей говорю: оставь меня в покое. Защищусь, тогда поговорим. А она: нет, сейчас. Хорошо, говорю, тогда я кончу жизнь самоубийством. Сегодня же. Она ушла. Через десять минут — звонок. Открываю: милиционер.

— Кто у вас Савельев?

— Я.

— Это вы хотите покончить самоубийством?

— Кто вам сказал?

— Ваша жена сделала заявление.

— Что вам от меня нужно?

— Пройдемте в отделение.

— У вас есть ордер на арест?

— А вы пройдемте.

И тут, представляешь, один за другим десять милиционеров. Делать им, что ли, было нечего. Взяли как есть, в домашних брючках, приводят к капитану.

— Это вы хотите покончить самоубийством?

— Нет.

— Ваша жена сделала заявление.

— Это ошибка.

— Хорошо, отведите его. Приводят к майору.

— Почему вы хотите покончить жизнь самоубийством?

Я говорю, так и так. Жена сделала ошибочное заявление.

— Все принимаю, — говорит майор. — Непонятно только, почему вы хотите покончить жизнь самоубийством.

— А мне непонятно, почему вы меня тут держите.

— Отведите его. Приводят к полковнику.

— Почему вы хотите покончить жизнь самоубийством?

— Кто вам сказал?

— Вот тут написано: «Хочет покончить жизнь самоубийством». Почему хочет?

Я говорю, что устал, что у меня ответственная работа. Он записал. Ночь провел в камере, утром приводят к полковнику. Там женщина лет сорока.

— Это вы Савельев?

— Да, я.

— Почему вы хотите покончить жизнь самоубийством?

Говорю:

— Вас неверно информировали.

— А все-таки, почему?

Я говорю:

— Вы вмешиваетесь в мою личную жизнь.

— Ответьте только на один вопрос.

— Какой?

— Почему вы хотите покончить жизнь самоубийством?

Молчу.

— Какое сегодня число?

— Такое-то.

— Месяц?

— Такой-то.

— Хорошо, пойдемте со мной.

Привозят в больницу. В приемном покое сидят два пентюха, студенты-медики, а может, и просто санитары. Один берет бумагу, читает. Говорит:

— Ну, рассказывай, какая у тебя болезнь, Владимир Фомич!

И тут меня прорвало:

— Вы почему обращаетесь на «ты»? Я научный работник, офицер Советской Армии.

Они в хохот. На мне же домашние брючки, штопаная рубашка, а на лице трехдневная щетина. Схватили, приволокли к палату. Три недели проверяли.

— Зачем же ты сказал жене? — спросил я. — Ты же сам привел в движение эту машину. Или ты не все мне рассказал.

— А что еще? — сказал Савельев. — Слава богу, больше ничего не было. Вчера я защитился, а позавчера мы разошлись... А! — сказал он вдруг. — А! Понимаю, на что ты намекаешь. Слышал о моих лекциях, да? С лекциями тоже вышла история.

— Ты читал какой-нибудь курс?

— Ну да. Только я приправлял мою биологию твоими идеями.

— Какими идеями?

— Ну, какими? Сам не знаешь, что ли?

Я вспомнил, что десять лет назад мы, действительно, о чем-то часто спорили и я не раз излагал ему мои точки зрения.

— Володя, — сказал я осторожно, — а разве можно пускать в общественный обиход мысли,

высказанные в частных беседах, да еще так давно.

— Можно, нельзя, — ответил Савельев. — Ну, я развел их немножко, приспособил для первокурсников. Им было интересно. С кафедры философии приходили. Вызывали на диспут!

— Ну, ты, я вижу, на самом деле величина, — сказал я, чтобы замять разговор.

— Но ты и сам не представляешь, как я тебе обязан!

— Мне? — переспросил я.

— Тебе, конечно, тебе. Ты ведь мой духовный отец, мой наставник.

— Володька, да ты рехнулся, — сказал я. — Ну какой я тебе отец?

— Отец, отец, — подтвердил Савельев. — Если бы не встреча с тобой, я бы никогда не стал таким, как теперь...

Я посмотрел на него. Он менялся на глазах. Только что был Володька, а теперь это уже был Владимир Фомич, кандидат наук. Теперь никто уже его не остановит, никто не скажет «ты», кроме пьяного на улице. Он выглядел, как полагается ученому. От него пахло одеколоном.

— Ну, а ты, значит, все так же? — спросил он с новой интонацией. — Ах ты, романтик! Заходи ко мне в университет. Спросишь, где моя лаборатория, тебе все покажут.

— Прощай, Володя, — сказал я. — И, пожалуйста, поосторожнее с идеями. От них, знаешь ли, одни неприятности.

— Все понял! Будь здоров!

Я лег на тахту и уснул не раздеваясь.

Проснулся я рано и с предчувствием, что меня ожидает какая-то неприятность. Предчувствия меня никогда не обманывали, значит, и на этот раз что-то будет. День начинался хмурый. Над домами низко висели тучи, полные воды. Скоро пошел крупный, тяжелый дождь. Я вошел в ванную и пустил горячий душ. Разделясь, постоял перед зеркалом. Потрогал колючие щеки. Пора бриться. Все было как будто в порядке, и все же предчувствие не исчезало.

Пока я стоял под душем и брился, дождь кончился. Теперь небо подернулось желтоватой пеленой. Намокшие деревья против окна не шевелились. С грохотом прокатил черный трамвай. Голубь перелетел улицу наискосок. Из ворот напротив вышел старик с белым терьером на поводке. Терьер тянул в одну сторону, старик в другую, и так они стояли некоторое время. Затем старик спустил его с привязи. Терьер побежал мелкими шажками, обнюхивая лужи на тротуаре.

Этот день был у меня свободный, торопиться было некуда, я жалел, что поднялся так рано. Обогнув дом, я свернул на Левашовский проспект и тихонько двинулся в сторону моста через Невку. Вокруг здания хлебозавода стоял густой запах свежего хлеба. На карнизах завода громко чирикали воробы.

Отмечая привычные приметы, я старался хранить невозмутимость и все же не мог отделаться от неопределенной тревоги, то и дело стучавшей в сердце. Обычно во время таких прогулок мне приходила в голову хотя бы одна счастливая мысль. Но на этот раз в голове было пусто. Чтобы не терять времени даром, я принялся перебирать в уме возможные источники неприятностей. Но на работе и дома все как будто было в порядке. Что касается жизни вообще, то с тех пор, как я поселился в этом районе, мне казалось, что я попал на необитаемый остров. Улицы здесь хранили следы эпохи Петра — Барочная, Корпусная, Галерная, Большая Зеленина — в действительности Зеленая — все это был город Петра, его верфей, его идеи «ногою твердой стать при море». И я подумал, что запустение, ощущимое здесь, нежилой дух улиц, согреваемых дыханием хлебозавода, — признаки минувшей эпохи, у которой было начало,

потом развитие, но не было завершения. Со временем здесь стали просто жить, не замечая, что весь район имел какое–то предназначение... «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия...» Это с одной стороны. А с другой — «...в Петербурге жить, словно спать в гробу...» Сопоставить эти строки, подвести итог.

Я возвращался не прямым путем, а переулками — хоть какое–то разнообразие. Память, как бы в ответ на мои размышления, привела давний разговор с одним доктором наук. Я говорил, что город нужно обживать, населять его живым смыслом, очеловечивать его и делать пригодным для жизни, а он ответил, что это невозможно и что, если бы кто–нибудь и захотел жить так, у него бы все равно не вышло.

Легок на помине! Навстречу мне бодренько шагал как раз тот самый доктор наук, в кепочке, прикрыв веками птичью глаза.

— С добрым утром, Роман Петрович!

— С добрым утром! — Он подал мне маленькую, изящную ладошку. — Ну–с, и как?

Мне вдруг стало грустно: он шел как–то очень, совсем уж обособленно и одиноко — и я шел, наверное, так же, и вот мы оба встретились на пустынной улице и приветствовали друг друга.

— Да как? — ответил я. — Так как–то все...

— Как вам понравились французские студенты?

— Французские студенты?

— Ну да, французские студенты, или вы не читаете газет? — Он оживился. — Вы просто не хотите понять, что все это значит! Отрицать всю, решительно всю французскую культуру! Да кроме нее и культуры–то нет!

— Ну уж и нет, Роман Петрович!

— Без нее нет. А вы что, тоже «за»? — спросил он с опаской, вскинув на меня глаза.

Он сказал глазами больше, чем хотел. Он отождествил меня с ними.

— Что вы, Роман Петрович, — сказал я. — Не придавайте этому большого значения. Никогда еще культура не гибла от рук студентов, а студенты никогда зря не волновались. Конечно, они подонки, но видно, что дело плохо, а, Роман Петрович?

— Плохо? — переспросил он. — Значит, говорите, плохо... Ну да, конечно.

Он весь как–то сузился, сжался, вставил в рот папиросу, улыбнулся мне на прощанье в точности такой же улыбкой, как при встрече, и мы расстались.

Роман Петрович — серьезный человек, но — последовательный сторонник любого порядка, лишь бы это был порядок, а не беспорядок. Лишь бы ничто не менялось, потому что прежде было хуже.

Пока мы беседовали, я прошел последний переулок, по которому можно было вернуться к дому. Пришлось возвращаться. Но только я свернул в переулок, как ожидание неприятности нахлынуло на меня с новой силой. Я пожалел, что не могу предвидеть, какая это будет неприятность, — бог с ней, пусть будет, — знать бы, в чем дело. То ли тут как–то замешаны вчерашние разговоры и мое самостоятельное следствие? Или Савельев принес несчастье? Напряжение стало настолько сильным, что отталкивало любую мою догадку. Я невольно ускорил шаг.

На улице возле дома было тихо, как обычно. Почти все окна растворены. В проезде ворот, прислонившись к стене, стоял Мишка.

— Здравствуй, Михаил! — сказал я.

Мишка вяло поднял руку, приветствуя меня.

— Иди-ка сюда!

В глазах Мишки зажглось темное любопытство, смешанное со страхом.

— В общем, так, — сказал я. — Я позвоню этой женщине и верну документы.

— А в милицию вы не ходили?

— Нет.

— А-а, — сказал Мишка. — А я думал, вы ходили...

Я вошел в будку, набрал 09 и назвал адрес Ирины Ивановны Ландышевой. Мне сказали номер квартирного телефона. Я тут же набрал ее номер. К телефону подошла женщина.

— Вам Ирину Ивановну? Сейчас...

Рассеянный отдаленный голос подтвердил, что да, действительно, была потеряна сумочка и что в ней были документы. «Как быть? Ну, я к вам подъеду. Часов в двенадцать вас устроит?» Мы договорились на двенадцать, и я повесил трубку.

Я поднялся к себе и стал приводить в порядок мое хозяйство. И тут ощущение беспокойства вернулось с новой силой. Что я забыл сделать? Что сделал не так? Что происходит, в самом-то деле? Я взял книгу по специальности, лег на тахту, прикрыл ноги пледом и заставил себя читать. Только я устроился, раздался длинный звонок. Я открыл. На пороге стояла Мишкина сестра.

— Владимир Иванович, у вас есть сигареты?

Я дал ей сигарету, но она не торопилась уходить. Мне показалось, что она смотрит на меня так, словно знает что-то такое, чего я не знаю.

— Что-нибудь случилось? — спросил я.

— Папка обещается Мишку из дома выгнать, — сообщила она, потупившись. — Он работать не хочет, все из дома тащит.

— Ничего, захочет, — успокоил я ее.

— А вы никуда не собираетесь уходить? — вдруг спросила она.

— А что?

— Погода сегодня хорошая. Вы бы погуляли!

— Только что вернулся, — сказал я.

— Ну, ладно... — Я заметил, что она чем-то озабочена. Я запер за нею дверь, принял прежнее положение и снова попытался читать. Не прочел я и десяти строк, как память, заслоняя прочитанное, начала вызывать в уме события вчерашнего вечера. Внезапно я подумал, что каждый человек — это проблема, которая сама себя решает, и если не решает себя, то решает других. Эта мысль показалась мне близкой к чему-то, о чем я сейчас должен был думать, но недостаточно близкой... словно вчерашние посещения придали ложное направление моему сознанию.

Я положил книгу и откинулся на подушку. Главное — не поддаться сбивающему течению. До сих пор мне и в голову не приходило, в какой тесноте мы живем. И каждый может подавить другого человека своими истинами, своей правотой. И как знать, когда это может случиться!

Тут мне послышалось, что меня окликают с улицы. Я подошел к открытому окну. На тротуаре стоял вчерашний математик с женщиной, вероятно, с женой, и призывающими махал мне рукой.

— Идемте с нами!

— А вы куда?

— К художнику ...су!

— К кому?

— В мастерскую к... Да ладно, идемте!

— Хорошо, — сказал я. — Сейчас.

Я натягивал чистую рубашку, когда в передней раздался звонок. Я подумал, что это математик, и еще удивился, как он быстро успел подняться на второй этаж. Я вышел в переднюю с рубашкой на голове и крикнул:

— Сейчас открою!

Но это был не математик. На пороге, когда я открыл, возникли два могучих привидения в белых халатах и с ними женщина в очках, похожая на волшебницу из какой–то немецкой сказки.

— Малецкий? Владимир Иванович? — спросила волшебница, заглядывая в листочек.

— Совершенно верно, — подтвердил я.

— Ну, что у вас такое? Что с вами?

— Со мной? Я собираюсь уходить. Там меня ждут. — Я махнул рукой в сторону окна.

— Вы поедете с нами, — сказала волшебница.

Я оглянулся на ангелов, стоявших в передней.

— Подождите минуточку!

Высунувшись из окна, я крикнул:

— Эй, послушайте!

Математик поднял голову.

— Да что же вы? Идемте!

— Меня хотят увезти! — сказал я.

— А-а... — сказал математик.

— Простите, кто вас вызвал? — спросил я.

— Ваши соседи!

Заглянув ей через плечо, я прочел: «Не работает. Пьет. Водит женщин».

— Вы меня простите, — сказал я, — но я не пью, не вожу женщин и работаю. Вот мой паспорт.

Волшебница взяла паспорт и внимательно перелистала его. По–видимому, мой вид и в особенности вид моей комнаты — хорошо, что прибрал! — подействовали на нее успокаивающие.

— Почему же нас вызвали? — спросила она.

— Это Мишка, соседский мальчишка, — объяснил я.

— Ну, хорошо, — сказала она. — А может быть, это сделал не он? Вы чем–то взволнованы, — добавила она, пристально глядываясь в меня сквозь очки.

— Еще бы, — ответил я. — Такой неожиданный визит... — Мне почему–то очень трудно говорить

— сохло во рту, язык еле ворочался.

— Хорошо, — сказала она. Затем она по-хозяйски оглядела мою комнату. — Вам нужно жениться!

— Почему? — спросил я.

— Потому что одному жить тяжело.

— Вы правы, — ответил я покорно. — Одному действительно тяжело. — Я сообразил, что имею дело с настоящей современной волшебницей, и принял по возможности спокойный и располагающий вид.

Она дописала что-то на бланке и спрятала бумагу в портфель. Затем она встала, встряхнула портфель и направилась к выходу. Ангелы пропустили ее вперед и двинулись следом. Мне нужно было открыть замок, но я оцепенел и только смотрел, как она возится с замком. Наконец дверь распахнулась, и они вышли, прихлопнув мою дверь с каким-то особенным лязгом, от которого у меня муряшки побежали по телу.

Как только они ушли, я вдруг представил, что было, когда они явились. Математик ждал меня под окном на улице, я стоял между окном и дверью в комнату, а они стояли в прихожей. И вот в этот момент, когда они вошли, а я захотел кинуться к окну, мне показалось, что комнаты не стало: есть только окно и дверь, а между ними я, стиснутый уже со всех сторон, лишенный пространства жизни, да и времени тоже.

Теперь пространство вернулось — мое небольшое пространство, где я спал, работал, принимал гостей — в общем, жил. Я подошел к тахте и упал на нее ничком. Я совершенно обессилен. В голове мелькнуло: «Что же будет дальше?» Я лежал пластом, уткнувшись лицом в подушку, медленно, очень медленно приходя в себя.

В половине первого раздался звонок. Я понял, что это Ирина Ивановна Ландышева — больше некому. В темной передней я не разглядел ее лица — прошуршало что-то изящное, пахнуло духами. Когда мы вышли на свет, она первая узнала меня — Володька, ты?

Я тоже сразу узнал Ирину Ивановну, с которой в университете мы даже дружили. Я бы узнал ее наверное, если бы Мишка сохранил фотокарточку, а по голосу узнать не смог — телефон искажает голос, к тому же голос у нее изменился.

— Я по мужу Ландышева, — сказала Ирина. — Ты хоть девичью мою фамилию помнишь?

— Кажется, Измайлова, да? На вот, получай свои документы.

Она не глядя сунула документы в сумочку.

— Вот уж не думала, что попаду к тебе, — сказала она.

— А мне и в голову не пришло, что Ирина Ивановна Ландышева — это ты!

— Ты удивился?

— Нет, мне, знаешь, не удивительно, но как-то странно: как во сне.

— Странно, что совпадение случайное, — сказала она, — сколько мы не виделись, лет шесть?

— Лет шесть, — подтвердил я.

— И вообще могли бы не встретиться, если бы не этот случай... Знаешь, я рада тебя видеть! Ты почти не изменился.

Знала бы она, как я изменился только со вчерашнего вечера! Но я промолчал.

— Так ты, выходит, катаешься на американских горках? — спросил я после паузы.

— Да сама не знаю, как мне в голову пришло! — Она рассмеялась. — Это было в прошлое

воскресенье. Оглянулась, а сумочки нет!

В какой–то момент — оттого, что она расположилась на стуле совсем по–домашнему, — мне показалось, что мы близкие родственники, долго не виделись, а теперь вот свиделись и толкуем о том о сем.

— Ты знаешь, у меня сынишка!

— Знаю, конечно, — сказал я. — Изучил твои документы.

— А муж мой знаешь кто? О, очень серьезный человек. Он — химик... Правда, мы живем врозь с тех пор, как родился Андрюшка. Он, знаешь, не хотел... Ну вот. Теперь рассказывай ты!

— Я живу один, — сказал я. — И у меня отвратительное настроение.

— А почему? — спросила она.

— Испортил похититель твоей сумочки.

— А-а, — сказала она. — Я видела, там вертелись какие–то мальчишки.

Она встала, прошуршав плащом. На лице ее, свежем и нежном, появилось выражение замкнутого спокойствия, словно она была уже не у меня, а у себя дома и готовилась приступить к хозяйственным делам.

Я прошелся по комнате, подошел к столу, выдвинул ящик, задвинул его, погладил ладонью стекло на столе, переложил книгу с одного места на другое. Это было новое, ленинградское издание Сент — Экзюпери... Вот и снова я один. «Хуже всего, что не знаешь, отчего сердцу бывает так трудно без ненависти и без любви», — припомнилось мне.

У двери снова позвонили. Я открыл. На площадке, не решаясь заходить, стоял Мишка, причесанный и в белой рубашке.

— Заходи же! — сказал я.

— Не, — ответил Мишка, — я на минуточку.

— Заходи на минуточку!

Он помешкал на пороге, но все же вошел.

— Садись! — я показал ему на кресло.

Он отрицательно мотнул головой.

— Я думал, вы пошли в милицию, — сказал он.

— Ну и что, что ты думал?

— Ну, я и вызвал машину.

— Ты понимаешь, что сделал подлость? — спросил я.

— Нет, — сказал Мишка. — Я думал, вы пошли в милицию.

— Ладно, — сказал я. — Больше так не делай.

— Так я пойду!

— Иди, иди!

— Я сам открою, — сказал Мишка. — Я умею.

Он ловко отодвинул задвижку и бесшумно исчез.

Я взял книгу, лег и попытался спокойно читать. Что–то кончилось сегодня, — во всяком случае, я был уверен, что никто больше сегодня не придет. Это не могло меня успокоить: на ум уже приходили мысли о том, что надо бы сшить новый костюм, походку, что ли, изменить, — в общем, как–то обособиться.

Но все—таки здесь еще можно было до вечера лежать, глядя в потолок. Можно было отвернуться к стене. Можно было накрыть голову подушкой и попытаться вздремнуть.

Я ведь сегодня не выспался...

1965–1990

ДОЛГОЕ ОТСУТСТВИЕ

Рид Грачев — один из самых талантливых литераторов нашего поколения. Р. Грачев, И. Ефимов, В. Марамзин, С. Довлатов — о Бродском я уже не говорю — наряду с Кушнером, Поповым, Соснорой и другими были бы сейчас костяком ленинградской литературы, ее мотором, ее гордостью, если бы по ним не проехался каток нашей прежней издательской политики и не сломал их судьбы — у каждого по-своему.

Я помню, с каким восхищением относилась к прозе Грачева Вера Федоровна Панова, весьма суровая в оценках.

Издевательское, мучительное прохождение первой и единственной книги Грачева, выпущенной «Советским писателем» двадцать пять лет назад, то, как книга таяла на глазах и в конце концов перестала быть книгой, а превратилась в тоненькую брошюру; унижения, связанные с этой процедурой, появление брошюры, совершенно не представляющей автора, контраст между сложившейся уже литературной репутацией и тем, что получил читатель, — все это сыграло тяжкую роль в судьбе Грачева, человека чрезвычайно тонкой душевной организации, нервного, уязвимого и знающего себе цену. Впрочем, цену ему знали и другие.

Октября 16 дня

1967 года

от Рождения Христова

В городе

Санкт — Петербурге,

в просторечии —

Ленинграде

дана сия

ОХРАННАЯ ГРАМОТА

Риду Иосифовичу Вите (Грачеву) для ограждения его от дурного глаза, людского пустословия, редакторской бесчестности и беспринципности, лживости женской, полицейского произвола и всего прочего, чем богат существующий миропорядок; а паче всего — от всеобщего наглого невежества.

И пусть уразумеет читающий грамоту сию, что обладатель ея нуждается, как никто в Государстве Российском, в теплом крове, сытной пище, в разумной ненавязчивой заботе, в порядочной женщине; и что всяк должен ссужать его бессрочно деньгами, поелику он беден, ссужать и уходить тотчас, дабы не навязывать свое существование и не приковывать к себе внимание. Ибо Рид Вите — лучший литератор российский нашего времени — и временем этим и людьми нашего времени вконец измучен.

Всяк, кто поднимет на обладателя Грамоты этой руку, да будет предан казни и поруганию в этой жизни и проклят в будущей, а добрый — да будет благословен.

С чувством горечи и надежды и безо всякой улыбки писал это в Лето Господне 1967^{го}

раб Божий

Иосиф Бродский,

поэт

Та книга, которая лежит перед нами сегодня, была написана в пятидесятые — шестидесятые годы.

Она должна была выйти тогда. Но удивительное дело! Сегодня она читается как совершенно современная. И не только проза, но и эссеистика. Очевидно, это свойство подлинной литературы — вне зависимости от жанров.

«Писатель» — не химера, не выдумка, не чья-то злая затея. Писатель есть сущность, неотъемлемая от жизни. От писателя нельзя избавиться, Писателя нельзя синтезировать, его нельзя заказать, его нельзя утвердить, нельзя и запретить. Общество не может содержать конюшню скаковых писателей, оранжерею писателей экзотических, монастырь писателей молящихся. То есть, опять же, может — но за счет самого принципа общности. Нет настоящего современного писателя — нет и настоящего современного общества. А это значит, что у каждого живущего человека — осознает он это или нет — отнято чувство общности с себе подобными, и он оказывается замкнутой изолированной системой».

Увы, для нашего общества проблема интеллигента, а тем более человека творческого, изначально являлась болезненной проблемой. Перевернутое с ног на голову мировоззрение, pragmatism, застилающий завтрашний день, неумение видеть важнейшие, но неявные связи между гуманитарной культурой и всем остальным — привели сегодня к трагическим результатам. Грачев заговорил об этом четверть века назад. С такой ясностью — одним из первых. То, что литература — необходимый для жизнедеятельности орган, а не анатомическое излишество, понимали и понимают достаточно немногие. Грачев понимал это остройшим образом и пытался втолковать: в обществе, где подавляется культура, вырастают больные, ущербные люди.

Грачев понимал и удивительно четко формулировал вещи, от многих скрытые. Все редакции давно стонут от наплыва графоманов. Грачев тогда уже писал: «Опыт показывает, что отсутствие притока жизненно важной информации вызывает однообразную и понятную реакцию: писать начинают читатели. Каждое «помутнение» общественного сознания сопровождается наплывом в редакции самодеятельных рукописей».

Рид Грачев всегда был утверждителем, как сказали бы теперь, приоритета духовности над всем остальным: «Всем объяснили, что человека создал труд. В действительности человека создает (этот процесс происходит и теперь) все то, что освобождает его от материальной зависимости, от прислуживания косной материи. Это и религия, и литература, и философии, и науки, и формы общественных отношений». Это цитата из замечательного эссе «Значащее отсутствие», в котором с редкой для молодого тогда человека простой мудростью автор определяет суть той тяжкой ситуации, в которой мы в полной мере оказались только в последние годы — дело не в наличии плохого (это закономерно), но — в отсутствии хорошего (что уже катастрофично): «Убитый мудрец — это тоже пример значащего отсутствия. И убитый отец, и убитая мать. И убитый ребенок. И вырубленный лес, и пересохшая река». Тогда никто еще не сокрушался по поводу экологии — в самом широком смысле. А он говорил об этом. Но напечатать не мог.

«Значащее отсутствие» — размышление о судьбе нашей интеллигенции. Это ее отсутствие в процессе, трагический пробел. Еще тогда Грачев писал: «Мы должны позволить оставшимся в живых интеллигентам высказаться по основным вопросам жизни. Безусловно, это будут вопросы законодательного порядка и вопросы исполнения законов». — Сколько лет было еще до съезда народных депутатов и гласности? — «Хватит доверять моральным паразитам, эксплуатирующими разум, волю и труд. Не позволяйте вовлечь себя в страшный мир, где палачи, именующие себя врачами, будут исправлять ваши «неправильные» мысли. Эта степень человеческого падения слишком близка, чтобы можно было не кричать: «Берегитесь!»

Это падение совершилось, мы теперь кричим об этом на каждом углу. Но совершилось оно и потому еще, что писателей, подобных Грачеву, отбрасывали от издательств, журналов, газет, калечили. Но сегодня его тексты столь же необходимы, как и тогда, ибо нам надо выбираться из пропасти и не привыкать к

жизни на ее дне.

Грачев дает время от времени замечательные формулы, глубину которых мы можем в полной мере оценить только сегодня: «Жизнь становится похожей на реку, обтекающую подводные камни закона». Не знаю более точного определения нашего фарисейского законопорядка, когда на поверхности все прекрасно, а под поверхностью — разгул беззакония. И все так естественно. При всей своей общезначимости некоторые эссе несут на себе резкий отпечаток шестидесятых годов, их иллюзий, их «социалистического прогрессизма». Очевидно, этим объясняется воинствующий антиамериканизм Грачева, который сегодня выглядит архаичным. Отсюда, очевидно, обличение буржуазных демонстраций и демократии вообще, а Эйнштейн, «настоящий, глубокий демократ», оказывается «полуличностью», как, впрочем, и Кафка, и Вл. Соловьев.

Однако у нас нет никакого права редактировать Грачева. Это — убеждения автора, и пусть их судит читатель.

Вообще не следует пугаться резкости тона многих эссе, высокомерия оценок (см. эссе о Фолкнере). В этом есть прелесть прямоты и полной откровенности писателя. Он разговаривает с читателем как с близким собеседником. Те, кому случалось беседовать и спорить с Грачевым, помнят, как нелегко это было. Но как интересно и плодотворно — несмотря на несогласие. Так и здесь — мы можем вскидываться, натыкаясь на очередной его парадокс, на резкое, несправедливое суждение о писателях мирового класса, но тут же мы мобилизуем свою интеллектуальную энергию для внутреннего спора, для лихорадочных поисков контраргументов — и это необыкновенно плодотворно.

Грачев, собственно, экзистенциальный мыслитель. Я хорошо помню его превосходный (неоконченный) перевод «Мифа о Сизифе» Камю. В той же толстой тетради, помнится, были и его заметки. Он ведь вообще был тесно связан с французской культурой. Недаром он так превосходно пишет о Сент — Экзюпери. И его эссе — философские выводы из прозы, которая есть прямая квинтэссенция его жизненного опыта. Но если в прозе эмоционально-человеческое начало, тяга уязвленной души к доброте определяют ее высокогуманный тон, то в эссеистике, где господствует голое ratio, жесткость взгляда не прикрыта ничем.

О самих рассказах я не считаю нужным писать. Это талантливая проза, одновременно предельно простая и удивительно многослойная. Это взвывание к человечности, которое так долго было у нас под подозрением и которое сегодня — наступило.

Издание книги — восстановление высокой справедливости по отношению к автору и, быть может, в первую очередь к нашему страждущему читателю.

Я. Гордин